
Александр ВОЛЫНЦЕВ

ТРАМВАЙНЫЙ ДЖАЗ

Повесть

*Королям стальных магистралей
и студентам «кульков»
с любовью и состраданием...*

ЭПИЗОД № 1

Три часа ночи...

Еще полчаса до традиционного будничного измывательства. Через полчаса электронное будило запиликает ненавистную мелодию «Эх, полным-полна коробочка...». Полчаса можно еще поспать.

...Без толку. Не можешь спать — не мучай простынь. Встаю и плетусь на общественную кухню. Завтрак: яичница и чай.

«Эх, полным-полна каро-о-о...» Цыц!

...Интересно: «будни» и «будильник» — это родственные слова? Кто сказал — нет? Вас бы так. Чтоб вы ложились в полночь и вставали через три часа. Без права на «ну-ящетошькоминуточку». При условии, что три часа вы провели в полудреме, слыша, как бьется за дверью аритмичный пульс общаги корфака на проспекте Стачек.

Все равно я люблю ехать на работу на первом трамвае. Есть в этом какая-то корчагинско-мазохистская романтика.

«Бдык-бдык», — поют свою трамвайную песню улицы просыпающегося города.

«Бдык-бдык». Завод «Северная верфь» (бывший «имени Жданова»).

«Бдык-бдык». Комсомольская площадь.

«Бдык-бдык». Обводный канал.

«Бдык-бдык». Театральная площадь (Никола-Богоявленский собор, Мариинка...).

«Бдык-бдык». Мост Лейтенанта Шмидта.

«Бдык-бдык». «Василеостровская».

«Бдык-бдык». Тучков мост.

«Бдык-бдык». Улица Пионерская.

«Бдык-бдык». Чкаловский проспект.

«Бдык-бдык». Барочная.

Теперь — все то же самое, но в обратном порядке.

Александр Волынцев родился в 1967 году в городе Озерске Челябинской области. Учился в Ленинградском кораблестроительном институте и Ленинградском государственном институте культуры. Окончил филологический факультет Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Работал корреспондентом газеты «Озерский вестник», корреспондентом телестудии ПТО «Видеоканал», корреспондентом и ведущим радиопрограмм в МУП ОТРК «Иртяш», возглавлял отдел по связям с общественностью ЦГиЭ № 71 ФМБА России, работал корреспондентом и заместителем главного редактора газеты «Единый Озерск». Член Союза журналистов и Союза писателей России.

Маршрут номер один. «Копейка», как его ласково прозвали трамвайщики. Заметьте: не «рупь», не «бакс», а «копейка». Какая зарплата — такие и символы...

«Бдык-бдык...»

Утренний час пик. Шесть утра. Восход встретил на мосту Лейтенанта, час пик — на площади Труда. Пролетариат хмуро давится в вагоне за право как можно быстрее доехать до своей фабрики. Около восьми утра их сменит не менее склонное к угрюмой давке племя интеллигенции. Всем надо. Все на работу. Все по делу. Ну, они-то ладно. А я-то что? Мне-то зачем вся эта прессовальня? Нет ведь, разделяю судьбу своего народа. Хобби такое. Ну да. Заняться-то больше нечем после почти бессонной ночи.

«Молодой человек, вы сейчас по Газа или прямо?» — «По Газа». — «Ой, выпустите меня!.. Ну вот здесь, у светофора! Мне прямо надо! Я говорю — откройте дверь! Вы куда? Вы что, не слышите?! Хам!!! Я буду жаловаться!!!!!»

Скандал. Без него езда в трамвае теряет часть своего колорита. Полировка крови и сброс пара. Утренняя зарядка для раскисших за ночь эмоций. Впрочем, пожалуй, время суток здесь ни при чем...

«По Лермонтовскому проспекту вагон идет, по Лермонтовскому», — талдычат старые динамики уже на нескольких остановках. «Ы-ы-ыньк», — скрежешут на повороте колеса. «Что? Что такое? Куда?» — «По Лермонтовскому едем». — «А что, объявлять не надо, да? Совсем обнаглели...»

«Бдык-бдык...»

Самое поганое: на Комсомольской площади опять не работает светофор. Отлично. Это именно то, чего так недоставало в последние три часа. Знак «Уступите дорогу» хватает вагон под уздцы: по проспекту Стачек идет непрерывный поток авто всех мастей.

Ждем-с... Мы-то ждем-с, а вот обед, между прочим, не «ждемсает». Обед, между прочим, каждой секундой накрывается словно медным тазом. Тик-так... Тик-так... На обед у меня, между прочим, за все про все — двенадцать минут по графику, макароны, ускользящие от вилки, ромштекс, не жуемый зубами, и стакан почти кипящего чая из серии «Сухов, пи-и-ить! — Пей-пей-пей, родной, только что вскипятит!».

И что интересно, всем остальным, едущим в нашем вагоне, на мой обед глубоко наплевать. Правильно, у них-то кулинарно-гастрономический перерыв позволяет не только перекусить, но и вздремнуть перед очередным взрывом трудового энтузиазма...

Заметив соблазнительную брешь в табуна свиномарок, трамвай неистово верещит своим пневматическим звонком, мигает дальним светом фар и бросается в атаку на перекресток. Ну и правильно. А что делать? До вечера стоять? Где-то позади визжат тормоза.

На обед осталось восемь минут и коржик с чаем.

«Бдык-бдык...»

К полудню ни накрепчайший чай, ни бубльгум, ни сигареты уже не в состоянии разогнать сгущающиеся липкие тучи предчувствия сна. Где-то под ложечкой копошится страх и точит душу, как моль прошлогодние варежки: «Не спать... Не спать... Не...»

Достаточно прямого отрезка дороги с десятков метров, чтобы прозевать момент сампроизвольного закрывания глаз.

«Не спать!!!» — отрезвляющий испуг всплывает откуда-то из подсознания. Сердце колотится, как после удара током. Ближайшие метров сто можно ехать спокойно: дремота затаилась и выжидает удобного момента, чтобы поудачней подпустить свой сладковатый яд...

Ой, да кому нужно такое хобби! Делать нечего... Сплошной мазохизм и никакого Корчагина.

«Бдык-бдык...»

Терпеть не могу, когда стоят за спиной. Стоят и стоят. И сверлят глазами. Ждут, что во мне совесть проснется и я уступлю свое место? Фигушки, заюшки. Не дожде-тесь. Мне и тут хорошо. Пассажирка, родившаяся, похоже, еще до Кровавого воскре-сенья, укоризненно опирается на спинку моего сиденья. В другой ситуации я, возмож-но, сделал бы вид, что выхожу, и дал бы возможность свидетельнице штурма Зимне-го занять мое блатное место. Но это — в другой ситуации. А сейчас, я думаю, боль-шинство катящихся были бы против моего рыцарского поступка. Бабулька, кстати, терпеливо молчит и явных претензий на мое сидьбище не выказывает. Только печально так вздыхает.

«Бдык-бдык...» Трамвай катит дальше.

Я не уступлю свое место.

Я — водитель этого трамвая.

АНТИЭПИЗОД #1

Сергеа курил на своем излюбленном пяточке на втором этаже общаги. Сегодня он никуда не спешил. Сегодня он просто стоял, опершись о перила, стряхивал в лест-ничный пролет пепел очередной сигареты и вспоминал еще не слишком давние события...

...Петрович совсем с дуба рухнул. Из всей группы в этот день принял зачет толь-ко у троих. Так можно и не успеть до конца сессии. А он ведь еще что удумал: пока не получишь зачет за предыдущий этюд, к следующему не переходишь. Можешь всю сессию один этюд долбить. На здоровье. Просто считай, что подал заявку на вылет из института.

Нервы уже не в компот от этой сессии. Предыдущая легче шла. Мрачность мыслей вписывается в погодную хлябь. Ленивые дворники вместо того, чтобы убирать снег, опять его просто насолили, поэтому под ногами полная «прощай мои свежие носоч-ки». Сергеа с Колянчыем месили жижу в сторону ближайшего кафе. Кофе там дерь-мовый, но там наливают не только кофе. Кроме того, там можно курить без отрыва от процесса. Полный сроч и демократия. Восторг для полубомжей, полупоэтов и буду-щих режиссеров. Недаром это кафе в народе прозвали «гадючником». Зато самое под-ходящее место для того, чтобы поговорить о большом и светлом искусстве, запивая обиду «Столичной» и заедая «Докторской». И то и другое терпеливо лежало в паке-те. В этот день здесь было подозрительно чисто и тихо. Традиционно липкие столы вымыты, полы протерты, консервные банки, назначенные на должность пепельниц, исчезли, сок вместо баночек из-под майонеза разливали в пластиковые одноразовые стаканчики. Студенты удивились прогрессу перестройки и ускорения, но от замысла своего не отказались.

Взяв сок, в котором их интересовала тара, а не содержимое, Сергеа и Колянчч рас-положились за крайним столиком, спиной к входной двери. Успев обсудить собы-тия роковой субботы, они замахнули граммов по семьдесят, заели соево-бумажной «Докторской» и задумались над вопросом: «А не покурить ли нам?» К единому мне-нию прийти не успели, ибо за спиной послышалось зловеще-торжествующее: «Та-а-ак! Р-р-распиваем?!» Существо в серой милицейской шинели властно нависло над столиком: «Документы!»

Все. Праздник торжества демократии умер. Сергеа и Колянчч вытащили студенче-ские билеты.

«Ну, че? Машину вызываем?» — засуетился напарник блюстителя общественной трезвости. «Погоди», — пробурчал начальник, изымая со стола вещественное до-

казательство грубого правонарушения. Он явно не торопился решить вопрос поскоренькому.

«С-с-студенты, значит, — протянул патрульный, запихивая документы в карман. — Ну, пошли на воздух, господа с-с-студенты».

На улице Коляныч решил применить знания и умения, благоприобретенные в институте, и захныкал, пустив почти всамделишную слезу: «Да-а-а, у нас сегодня сессия закончилась, последний экзамен сдали, решили отметить... А че? Там же все равно разливают, какая разница?» Серега угрюмо поддакивал.

«Машину-то вызывать?» — тербил старшину рядовой. «Да погоди ты! — раздраженно пришикнул начальник патрульного дуэта и снова повернулся к „нарушителям“. — Ну, как вопрос решать будем?»

Серега подумал, что ослышался. Коляныч тоже как-то напрягся. «Вот уж хрен тебе! — мысленно возмутился Серега. — Или вы, шакалы, в участке сами все заберете, или ни копейки от меня лично не получите. Чтоб я?.. Своими руками?..» Примерно такой же текст светился на вдохновенном лице Коляныча.

Старшина демонстративно тонкой струйкой выпустил содержимое поллитровки в снег, видимо, рассчитывая, что этот садистский акт морально сломит правонарушителей: уж если он с водкой так беспощаден, то что уж с этими жертвами высшего образования сделает?! Подумать страшно.

Однако студенты оказались крепки. «Ну, что... Пошли в отделение», — скомандовал садист в погонах. «А может...» — напарник попытался напомнить о машине. «Ты заткнешься сегодня, нет?» — прошипел старшина, по всей видимости не теряющий надежды раскрутить по дороге унылых студентов на финансовое вспомоществование.

Но с каждым шагом главе патруля становилось все понятней, что или студенты — отвратительные жмоты и не хотят порадовать его ни под каким предлогом, или у них действительно деньги закончились в магазине. Но делать нечего. Вот и скрипучие двери 31-го отделения.

Здесь Коляныча и Серегу обшмонали по высшему разряду. Перетряхнув содержимое сумок и карманов, прощупав все корешки тетрадей и книг, дежурный уселся составлять протоколы, а героический патруль снова отправился в зимнюю темноту потенциально преступных улиц. Коляныча «обслужили» первым и отправили в «аквариум»¹.

На Серегу еще писали протокол, когда прибыл реальный хозяин отделения: здоровый рыжий громила типа «шериф». Расположившись на своем месте, он начал кромсать принесенную колбасу Серегиным ножом прямо на пачке протоколов задержания, попутно изучая свежие буквы.

— «Перепрыгнув через ограждение порта, бросился бежать... Догоняющим его Федорчуку и Ананьеву угрожал физической расправой... Сумку утопил, бросив с моста, после чего перестал оказывать сопротивление свидетелям Федорчуку и Ананьеву...» Кто писал?!

— Я... — отозвался побледневший дежурный.

— Головка от патефона! За сумкой в воду ты полезешь? А если он песок сахарный пер? Что ты ему предъявишь, а? Писатель Зуев... Давай его сюда!

Из «аквариума» выудили худосочного расхитителя уже не совсем социалистической собственности.

«Шериф» подкрутил свои пшеничные усы.

— Ну, давай... как там тебя... Алексей Иваныч, рассказывай подробненько, как дело было.

¹ В Питере «обезьянники» называются «аквариумами», потому что «изолированные» находятся не в клетке за прутьями, а в комнатухе за толстым стеклом.

— Какое дело? — худосочный, судя по всему, скорее бы признался в убийстве Кирова, чем в неудавшейся покраже.

— Что в сумке было?

— В какой сумке?

— Алексей Иваныч, ты меня не зли. В сумке, с которой ты из порта драпал через забор. Свидетели имеются.

— Врут. Я их толкнул нечаянно, они за мной и ломанулись, кони.

— Что было в сумке, с которой ты прыгал через забор?

— Да какой забор, начальник? Я мимо шел. Ну поцапались на улице, так что ж?

— Давай, Алексей Иваныч, так сделаем: ты говоришь, что было в сумке, и мы разбегаемся. Добро?

— Да не было никакой сумки, начальник. Пустой я шел...

Так они вальсировали минут пятнадцать, наконец побагровевший «шериф» не выдержал и ляпнул своей пудовой ладошкой по столу:

— Иди н-на отсюда! Ляксея, твою, Иваныч!

Худосочный выпорхнул еще до окончания фразы. «Шериф» скомкал протокол и, запустив им в корзину, подмигнул Сереге. И спохватился:

— Во! А это чего такое?

— Так за распитие в общественном месте... — неуверенно пробубнил дежурный. «Шериф» взял «Серегин» протокол.

— Кто их доставил?

— Бобров с Кострыкиным...

— Муд-дак твой Бобров! Без машины у меня сегодня будет... Пусть по воздуху походит, деятель...

Серега испытал состояние, близкое к оргазму.

— «...В кафетерии на проспекте Стачек... — читал „шериф“ протокол местами вслух, — в состоянии алкогольного опьянения...»

— Да какое же опьянение? Мы выпили-то граммов по пятьдесят... Да и к тому же там на розлив продают. Какая разница: полкило коньяку у них заказать или по сто с собой принести? — вдохновленный увиденным и услышанным произнес Серега.

— Не мешай. Кстати, я чего-то не помню: можно там с собой или нельзя...

— Так если бы там объявление было какое, мол, «запрещается», туда-сюда, так мы бы и не стали, а так-то что? Ну мы и подумали...

— Нет, ты понял? — обратился к дежурному «шериф». — Они подумали! Думающий студент нынче пошел, прикинь! Хрен с тобой. Где его вещи? Так, пересчитай деньги.

— Да ладно...

— Пересчитай, я сказал! — рывкнул «шериф». — А то будешь потом трындеть, что легавые тебя раздели.

Серега пересчитал. Все копейка в копейку.

— Порядок? Распишись. Все. Вали. Но если сегодня в вытрезвитель попадешь — вешайся: на работу сообщим и в институт. Понял?

— Понял!

Серега собрал свои манатки и вышел в коридор. Нужно было дождаться Коляныча, а торчать на улице не хотелось. Двери дежурки когда-то были застекленными, но то ли кто-то вышел через них неудачно, то ли «шерифу» протокол подвернулся негабаритный, только теперь стекол в дверях не было. Серега начал прохаживаться по коридору.

— Эй, Сергуня, ты чего там разговоры служебные подслушиваешь? Ну-ка брысь отседава!

— Так я друга жду...

— На улице подождешь! Брысь, я сказал!

Сергея на грубость нарываться не стал и вышел. Минут через пять выскочил довольный Колянч:

— Тебе деньги вернули?

— Да.

— И мне вернули. А я думал — не вернут. Дык, это...

— Ессессьно...

Студенты приобрели еще одну поллитровку (благо колбаса с хлебом, в отличие от водки, не погибла от рук патруля) и отправились в общагу. Чтобы не испытывать больше нервы у Фемиды с Фортунной.

И Колянч долго еще после тех событий раскидывал мизинцы во время каких-нибудь творческих споров и, делая страшные глаза, аргументировал свою точку зрения словами: «Да я сорок минут зону топтал!!! Че ты мне паришь?!»

ЭПИЗОД № 2

Весна! Как много в этом звуке
Вас принуждает гладить брюки...

Любить какое-либо время года и, несмотря на это, работать на трамвае — невозможно. Что-нибудь уж одно: или любить, или работать. Это для режиссера Рязанова у природы нет плохой погоды. Для водителя трамвая нет погоды хорошей. Специфика, однако. Или, как теперь модно говорить: кто на что учился...

Остатки снега, каким-то чудом выпавшего и всю зиму копленного, журчат ручьями и изображают из себя старших товарищей: Неву, Фонтанку, в крайнем случае — Обводный канал. Рельсы спрятались в лужах. Это у них игра такая: нырни поглубже. Ныряю. И ручками, ручками, пальчиками, как сапер... А что делать? В мутной луже абсолютно непонятно, как лежит перо стрелки. Кроме направления, надо проверить — плотно ли прилегает это самое перо к рельсам, не отщелкнется ли стрелка под вагоном, послав первую тележку трамвая направо, а вторую — налево. Водила встречного вагона изображает руками заплыв. Морда веселая такая... Ничего, обратно поедешь — тоже занырнешь, весельчак.

Тучков мост сегодня закрыт, поэтому каждый рейс довольно прилично сократился. Как говорится, пассажирка из трамвая — пантографу легче. Правда, увеличилось количество рейсов. Ну, да ладно. Зато не надо психовать на перекрестке перед Тучковым. Абсолютно дебильный перекресток. Кровопивец.

Качу по новому графику, никого не трогаю, жизни радуюсь. От станции метро «Василеостровская» по Первой линии направо, потом направо по набережной...

Кстати, я так и не понял за годы работы на линии, что заставляет людей по полчаса ждать трамвай у «Василеостровской», потом давиться, отрывая пуговицы, хлястики и рукава, и все это ради того, чтобы проехать одну остановку: расстояние — десять минут ходьбы черепашьям шагом... Из-за преданной любви к трамваю?..

Перед светофором вагон как-то нелепо дергается, стрелки на приборах выплясывают брейк, я поддаю ходу, чтобы убраться с перекрестка: разбираться потом будем, сейчас не до того. Подъезжаю к остановке, подбираю пассажиров, трогаюсь с места. Вагон лихорадит. Не понимаю, что происходит.

Мадам преклонного возраста обращается ко мне с истинно питерским выговором: «Молодой человек, у вас тут что-то горит».

Прелестно.

Из-под лючков над передней тележкой выбивается дым.

Опускаю пантограф. Открываю лючок. Горит двигатель. На какой-то из колдобин от кожуха отвалилась крышка (и вполне возможно, что не сегодня), из какой-то лужи плеснуло весенней водичкой — готово дело. Сбиваю пламя песком из песочницы под передним сиденьем и мысленно благодарю неизвестного сменщика, который не поленился, вернувшись в парк, наполнить песочницы. Да, по инструкции делать это обязаны все, но... Если бы у нас все всё делали по инструкции...

Мадам, поправив шляпку, откровенничает: «Вы, когда подъезжали к остановке, уже горели».

Класс!

Российский пассажир самый непотопляемый и несгораемый в мире! Люди стояли на остановке, видели, что из-под ковыляющего вагона валит дым, но желание ехать растоптало инстинкт самосохранения.

Такой народ не будет побежден!

Открываю двери и сообщаю радостную новость, что вагон дальше не пойдет.

«А почему?» — «Не хочет».

Недовольно поглядывая на словоохотливую мадам в шляпке, пассажиры вяло выходят. Действительно, не скажи она про огонь, мы бы вполне дотянули до моста Лейтенанта Шмидта. Гореть на мосту гораздо интереснее. Там вокруг машины, которым некуда бежать от горящего вагона. Кстати, трамвай выгорает за несколько минут. Если вовремя не потушить.

Отключаю погоревший двигатель вместе с его напарником и на двух оставшихся ползу в парк. Минуты преодоления многочисленных мостов — не самые приятные в этот день. Хорошо, что пассажиров высадил (в соответствии с инструкцией, кстати), а то бы точно зависли где-нибудь...

...Площадь Труда. Предобеденный рейс. Зеленый свет. И снова мост Лейтенанта... (Интересно, ему там не икается? Лейтенанту, конечно, а не мосту...) Переезжаю набережную, начинаю неспешный, как положено, подъем на мост и...

Нежный звонок сигнализации и загоревшаяся лампочка «напряжение сети» никогда не были хорошей приметой для трамвайщиков. Есть несколько толкований этой приметы: вышибание автомата, перегорание предохранителя или завал пантографа.

Несколько метров вагоны (я тогда вел парник) по инерции проехали вверх по мосту и замерли. Врубив все возможные тормоза (кроме ручника, коего отродясь ни на одном вагоне в исправном состоянии не торчало), начинаю обследование. Пантограф в порядке... Автомат не вышибло... Предохранитель? Ладно, так и быть, заменю, посмотрим, что получится... Без толку. Звонок продолжает заходиться в жалобном звуке. Автобус, стоящий передо мной, дождался своего права на движение и перестал загораживать трамвай, застывший на встречной линии.

Коллега тоже встревоженно дергает пантограф, проверяя источник неприятности. Понятно... Значит, дело не в наших вагонах. Все гораздо хуже: напряжение пропало в самой сети.

Встречному-то что... Он стоит на горизонтальном участке моста, и водитель может курить бамбук, пить чифирь или, если давно не нарывался, пройтись по салону и проверить билеты у пассажиров, а я? Мои вагоны сопят сквозь дырочки, и я с ужасом смотрю, как стрелки манометров тянутся к нулику... А это значит, что когда давление в пневматической системе упадет полностью, тормозные колодки разожмутся и...

А вы как хотели? Это когда вагон исправен и есть напряжение в сети, компрессор молотит, поддерживая нужное давление. А без напряжения — что?

«Пс-с-с...» — предательски посвистывают последние порции воздуха. Вагоны начинают скатываться с моста. Пассажиры недоуменно смотрят по сторонам, начиная понимать, что происходит что-то не совсем то, чего хотелось бы.

Щелкаю зажигалкой. Дергаться бессмысленно. Держать вагон за бампер? Подкладывать под колеса ломик? Ну вот идите и подкладывайте... Умные все — советовать... Прекрасно зная, что за любым трамваем следом по рельсам шпарят «чайники» в своих коробочках, сижу в ожидании скрежета чужого металла, звона стекла и воя бибикалок...

Выкатываемся задом на набережную. Вагоны замирают. Пронесло?.. Неужели пронесло?!

Загорается зеленый свет, и «чайники» пытаются проехать через перекресток. Навивняк... И нечего бибикать! Развели тут концертный зал имени Шостаковича! Нет, ты смотри: руками машут, глаза круглые делают, ртом слова какие-то жуют. Матерные слова-то небось... А я куда с перекрестка денусь? Без напряжения...

«Эй, двери-то открой!» — кричит один из самых нетерпеливых пассажиров.

«Сам открой!» — отвечаю без малейшего намека на провокацию — открыть двери выключателем с пульта я не могу: нет ни электричества, ни давления. Так что — сами-сами.

«Хамло! Я тебя запомнил!»

«Да иди ты в... баню...» — бормочу, прикуривая очередную сигарету от предыдущего окурка. Я только что чуть не обмочился на этом мосту имени бесславного лейтенанта, поэтому сил на воспитательно-показательную вспышку гнева нет абсолютно.

Несколько неусидчивых и склонных к стадному инстинкту выпрыгивают из вагона почти под колеса снующих вокруг «чайников» и устремляются на Васильевский остров через мост пешедралом.

Звонок замолкает. Лампочка «напряжение сети» гаснет. Компрессор спохватывается и начинает, захлебываясь, наверстывать упущенное. Красный свет — «чайникам» на набережной. Начинаю движение.

Что интересно, самый первый вырвавшийся из трамвайного плена догнал меня на остановке «Восьмая линия» и заскочил в задний вагон. Не побрезговал «хамлом»-то.

Обед, кстати, в очередной раз накрылся...

...Последний круг. Ездим теперь уже не до Барочной, а до Смоленского кладбища. Подрезали маршрут. Произвели обрезание в связи с острой нехваткой кадров. Зато — спокойней. Уже за полночь. В переднюю дверь заходит бабулька типа «товарищ». Ей не хватает беломорины в зубы и папилютки в челку для полноты образа Раневской из «Александра Пархоменко». Булькает кошелкой: «Пятьдесят капель будешь?»

Первая мысль: «А почему бы и нет?» Мы уже на Садовой, до Смоленского — рукой подать, там простое оборотное кольцо, диспетчера нет, в парке после рейса никто обнюхивать не будет...

«Э-э-э-э... Да ну... Да ну его в баню! — вклинился отравляющий любой праздник голос рассудка. — Забыл восьмимартовские приключения?» Отстань! Не забыл. Такое забудешь...

А дело было так. Ночевал я в те дни в репетиционной комнате студенческого театра «Перелом». Пристроили по блату. Девятого марта я должен выходить в утреннюю смену. Но — восьмое... Праздник... Да еще в этой самой комнате... «Ладно, — думаю, — пятьдесят капель не повредят». Слово за слово...

А тут еще пришел выступать на праздничной дискотеке солист театра «Рок-опера». Познакомились. Толик оказался человеком удивительно легким в общении, но жутко злым до работы. Когда вечером, перед выступлением, настраивал микрофон — довел нашего «звукача» до легкого психоза. «Толик, — говорим, — чего ты паришь-ся, тут будет три четверти пьяной гопоты с улицы...» Но Толик так на нас посмотрел, что наш совет засох, не претендуя на повтор.

Микрофон настроен. До выступления еще почти четыре часа. Восьмое! Праздник! Э-э-э-эх, гуляй, душа! Театральные барышни поздравлены, пятьдесят — раз, пятьдесят — два... Эх, раз, еще раз... Когда диск-жокей (которых тогда диджеями еще не называли) пришел за Толиком, унынию его не было конца: Толик передвигался, как сапер по заминированному тротиловому заводу. Мы слабо понимали, как он будет петь, но то, что он будет рваться на сцену, — это было очевидно. Как очевидно и то, что надо встать рядом со сценой: мало ли что придет в голову слабоадекватным посетителям дискотеки...

Заиграла Толикова «минусовка». Мы сжались... Вдруг на сцену как ни в чем не бывало выскакивает наш гость и выдает такой вокал, какого мы и на его студийных записях не слышали. Фурор — оглушительный. Вызов на бис и все такое...

Возвращаемся обратно за стол. Я наивно рассчитывал, что где-нибудь в полночь, как истинный Дед Мороз, завалюсь за кулисы и притоплю часика три до смены. Да где там...

На работу пошел:

а) не спавши;

б) хоть уже и не «под мухой», но принятые на грудь граммы неприятно давили на пролетарское сознание.

Поскольку на работе я ни разу не появлялся «с запахом», то особо меня на предрейсовом медосмотре никогда не тиранили: ставили штамп в путевой лист — и вперед. Доверяли, значит. Главной задачей в этот день для меня стало не соблюдение графика движения по маршруту, а его безопасность. «Только бы никого не зацепить... Только бы никого не...» Иначе — кровь на анализ... И все. Доказывай, что ты не кэмэл.

Чай, бубльгум, курево и нервное напряжение помогли не задремать.

Последний круг. Продержаться еще немного — и пересменка.

И все. И чтоб я еще когда-нибудь... Да ни за что... Закрываю двери и трогаюсь с очередной остановки. Душераздирающий вопль.

За доли секунды перед глазами проносится видение: зона с вышками, колючка по периметру, полушубки на вертухаях, оскал овчарок...

Смотрю в салон. Все спокойно. Значит, не дверями. Значит, хуже. Выскакиваю из кабины, заглядываю под переднюю тележку. Крови и отрезанных голов не видно. Краем глаза замечаю «пионэров», убегающих за угол дома. Они лупасят друг друга портфелями и верещат на весь Васильевский о чем-то своем.

Забираюсь в кабину. Закуриваю. Медленно трогаюсь. С-с-собаки бешеные... Надо же так прикупиться... Вот уж права народная мудрость, что если всю ночь искать черта, то под утро увидишь его в зеркале...

Да, я отвлекся.

«Не буду, — отвечаю я двойнику Раневской, — я же практически за рулем».

«Де-е-еточка! Что ты мне рассказываешь! Я с сорок второго года — за рулем! — всплескивает „Раневская“. — Да что ж это такое! Туда ехала, предлагала — отказываются, обратно еду — тоже...» Разговорились. Занятная бабулька оказалась. Фронтоничка. И до сих пор водит машину. Вышла на Театральной площади.

Я доехал до кольца. Все. Обратное. Домой!

С Поцелуева моста на Театральную — один светофор. Красный с желтым. Подлетаю к перекрестку — уже зеленый. Притормаживаю на стрелке и тут замечаю, что справа, прямо на красный, с улицы Декабристов несется роскошный «кадиллак» с дипломатическими номерами. За рулем сидит некое горбоносое существо, яростно машет руками, бибикает и мигает дальним светом. Мне тормозить бессмысленно — невелика разница: влупится он в первый вагон или во второй. Продолжая давить на свою бибикалку, он умудряется остановить свое чудо американского автопрома сантиметрах в пятнадцати от летящих мимо бортов моего трамвая. Пронесло...

Ха! «Пронесло»... Между прочим, если бы тяпнул провокаторские «пятьдесят капель» с радушной «Раневской», то по закону подлости «кадиллак» воткнулся бы в мой бок; понятное дело, милиция, понятное дело, протокол, понятное дело, освидетельствование. «Ага-а-а, голубчик! Да ты выпимши! Подь сюды, чичас мы из тебя барбекю делать будем! Ты пошто иностранного дипломата трамваем замучил?» В вагоне-то никого, свидетелей нет, а ты иди доказывай, что на зеленый ехал. Градус в крови есть? Есть. Виновен!!! Расстрелять, на хрен.

Так что, как говорится, на фиг-на фиг...

Что вы говорите? При чем тут Дед Мороз? Какой Дед Мороз?

А... Вы про фразу «я... как истинный Дед Мороз...»

Ну да, было дело... Довелось нам как-то активно поучаствовать в «елочной кампании».

Нет, елками мы не торговали. Мы на них зарабатывали. Как? Есть дивный анекдот про елки и Новый год. Правда, в полной мере оценить его могут только актеры, но тем не менее... Слушайте.

Середина декабря.

Лежит на полуразваленном диване в квартире с ободранными обоями актер Пупкин.

Лежит, похмельем страдает. Работы нет, денег нет.

Неизвестно даже, на что Новый год справлять.

Раздается телефонный звонок. Незнакомый голос с диким англо-американским акцентом:

— Хэллоу! Мистер Пупкин? Айм беспокоит вы по поручению мистера Спилберга фром Холливуд...

— Вован, ты, что ли? Отвали... Башка и так трещит...

— Ноу!!! Ноу мистер Вован!!! Мистер Спилберг имеет желание пригласить вы на роль второго плана! Мы предлагаем вы не главная роль, йе, главная — делать Шварценеггер, но... Она тоже серьезный вольт! Уан саузанд долларз не предложить, но на восем хандридз долларз в день съемка вас можете рассчитывать.

— У Спилберга? За восемьсот в день?

— Йе! Мистер Пупкин, поверьте, это очен хороши предложение! Полмьесятс рабочих дней!

Пупкин постепенно понимает, что это все всерьез:

— Дак это... Ну... А когда съемки?

— С двадцать пятого декабря по десятое января.

— А-а-а... Не! У меня елки...

Итак, о елках...

В то время я уже перевелся в стрелочники. Чего хихикаете? В самые настоящие стрелочники. В трамвайном парке куча стрелок. Их надо обслуживать. Ночью, естественно. Летом — смазывать, зимой — расчищать. Зарплата меньше, но я оставался водителем трамвая по совместительству (а значит, с вольным графиком), так что концы с концами сводил и ласты не клеил. Зачем перевелся?

«Зачем-зачем...» Так надо было.

Ну так вот. Та зима случилась на редкость бесснежной. Поэтому, заступив в двадцать два тридцать на свое дежурство, я был твердо уверен, что за эту ночь успею подготовить рабочую форму Деда Мороза к елочной кампании, начинающейся утром...

Взятый в прокате костюм красноречиво указывал на то, что предыдущий Дед Мороз был не то шахтером, не то нефтяником и водил праздничный хоровод по-пластунски прямо на своем рабочем месте. Но это — полбеда. Нужно еще превратить палку

от швабры в волшебный посох, которым обычно Деда Морозы с восторгом дубасят разную лесную нечисть, чтобы та веселей орала: «Раз, два, три! Елочка, гори!!!»

Вдобавок ко всему обрывки седого парика должны к утру стать роскошной бородой и лохматыми накладными бровями, что даже при моем дед-морозовском стаже совершить было крайне затруднительно...

В полночь пошел снег. К этому времени, основательно истыкав пальцы иголкой, я оборудовал прокатный тулуп (вернее, халат с претензией на звание тулупа) праздничного вида блестками, маскирующими мазутные пятна на том месте, где обозначились ползавшие (видимо, по дороге) колени моего предшественника. Снег был крайне некстати, потому как я, выполняя свой профессиональный долг, обязан был эти самые атмосферные осадки убирать со стрелок, которых в нашем трамвайном парке ближе к утру набиралось около шестидесяти штук. Конечно, в нормальные времена на нормальном производстве нормальный стрелочник, разметаив снег, посыпает стрелки солью и, волоча за собой гордо опущенную лопату и порожнюю тачку, бредет спать. Наши же времена (не говоря о производстве) назвать нормальными может только конченный оптимист. Что же касается стрелочника в моем лице, то...

Впрочем, я отвлекся. Короче, соли в парке не было, и чтобы к утру стрелки не завалило окончательно, нужно было их расчищать. Постоянно. Всю ночь. В промежутках между попытками выстрогать из парика бороду и состряпать из швабры посох.

К шести часам утра концентрация доброты в моей крови, видимо, превышала все допустимые нормы, ибо в результате я оказался в назначенном месте встречи на полтора часа раньше, чем нужно...

Мои элегантно позевывающие компаньоны, своевременно спрыгивая с эскалатора, сочувственно задавали мне один и тот же вопрос относительно причины красноты глаз.

Наконец за нами приехали. Совершенно другой человек на подозрительно незнакомой машине тридцать минут пути пытался нас убедить в том, что он именно от того Ивана Ивановича, который договаривался с нами... И убедил только тем, что привез в нужную деревню, где на пороге клуба нас встретили люди со следами бурной ночи на лицах.

Как выяснилось позже, они проводили дискотеку для местной молодежи, в результате чего под утро «лиса Алиса» потеряла голос, а «кот Базилио» — способность адекватного восприятия действительности.

...Последним штрихом перед выходом должен был стать процесс надевания бороды. Естественно, в последнюю минуту оборвалась резинка, соединяющая бороду с ушами и затылком. Одной ногой я уже катался в истерике, а другой пытался выгрести из-под стола бороду, которая по непонятным соображениям туда катапультировалась. Спасибо нашей Снегурочке: она вовремя осознала кризисность ситуации и, успокоив меня, как ребенка, в считанные секунды с помощью булабочек, скрепочек и каких-то гвоздиков прищпандорила дед-морозовскую растительность к моему подбородку.

...В тот день работалось относительно спокойно. Детишки были в основном шести-семи лет и реагировали на происходящее с достаточной долей радостной непосредственности. Правда, один из первоклашек добавил седины в мою синтетическую бороду.

Живо откликнувшись на призыв почитать стихи, сей отрок встал под елку и изрек: «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Это была первая строчка, которая не могла внушить подозрений.

«Борода из ваты!» — после этой строчки я начал медленно осознать, что где-то уже слышал данное произведение.

«Ты подарки нам принес?!» — самозабвенно декламировало дитя, а я, увидев, как сквозь грим побледнел стоявший рядом Кощей, вдруг вспомнил абсолютно нецензур-

ное продолжение этого бессмертного перла подзаборного фольклора и начал лихорадочно соображать, как заретушировать конфуз и погасить грядущий скандал.

«Значит, ты богатый!!!» — почти проорал малыш и невинно посмотрел на нас. Знаете, как реагируют люди, для которых закончился долгий грязный шантаж? Кошеюшка насыпал тещу две пригоршни конфет, а я еще полдня выплевывал куски бороды...

Кстати, о синтетической бороде во рту.

После завершения первого дня борьбы за выживание в экстремальных условиях детских дошкольных и школьных учреждений мы попали еще и под «персональный заказ».

Коллега по студенческому театру «Перелом» попросила устроить праздник для своей пятилетней племяшки. Ну, как не помочь...

Переоделись всей «елочной» бандой у сердобольной соседки в квартире напротив.

Ввалились «шумною толпой» в квартиру с вышеозначенной племяшкой, повели хороводы, попеременно загадывали загадок, вручили неперменный подарок и собрались уже назад...

Не тут-то было.

Радушные хозяйева усадили нас во всей амуниции за стол.

«Чаем не угощаем, — сказала хозяйка, — потому что Дедушка Мороз от чая растает, а потому... Мороженое!»

Уточню: клонился к закату 1994 год. Оправившаяся от «шоковой терапии» зарплата хотя уже и стала более-менее регулярной, но оставалась дистрофично-тщедушной.

Потому любое приглашение за стол игнорировать мог только конченный интеллигент. Потому мы не проигнорировали.

Расселись вокруг стола, схватились за ложки... И тут я понял всю скорбность моего положения.

Коллегам-то что — они уписывали мороженое за обе щеки, а я? А мне?

Нет, на тарелке возвышалась горка мороженого внушительных размеров, это — да. И еще с орехами. Но...

Племяшка, ради которой мы пошли на сверхурочные елочные упражнения, наворачивая мороженое за столом с нами, не сводила с меня глаз. Я понял, что бороду при ребенке снять не могу. Не имею права... Даже, если ребенок в курсе, что Дед Мороз липовый... Фасон надо держать до конца.

Благо дело, я сидел напротив трюмо. И вот по зеркалам этого трюмо я наводил ложку на отверстие в бороде, дабы с той или иной точностью попасть в рот... Понятно, что вместе с мороженым в рот лезли синтетические пряди моего «дедовского» атрибута.

Знаете, мороженое с орехами и искусственной бородой — еще тот десерт...

Наконец попытка была закончена, Снегурочка со словами «Ой, дедушка, ты испачкался!» утерла прокатную растительность, и мы откланялись...

Второй день был ударным. Мы пережили четыре новогодних елки, в перерывах между которыми на фоне Снегурочки и меня активно фотографировались ребяташки. Тогда я понял, что чувствуют старые заезженные пони, стоя с «цветами жизни» на спине под прицельными всполохами фотовспышек. Спасибо, что еще с ладошек не кормили...

Этот трудовой будень не прошел даром для нашей героической Снегурочки, которая к вечеру почувствовала себя несколько хуже. Забыл сказать, что к моменту нашей елочной эпопеи она была на пятом месяце беременности. Кощей, приходящийся ей мужем (не по сценарию, а в жизни), сообщил нам о возникших трудностях уже почти ночью. Нас выручил старый друг нашего коллектива, по совместительству — молодой специалист-кораблестроитель, взявшийся за роль Бабы Яги. Актрису, прежде игравшую Бабу Ягу, повысили в должности, переведя в Снегурочки. Репетировали до четырех часов утра.

Утром, которое оказалось вечера мудренее, за двадцать минут мы набросали абсолютно новый сценарий и воплотили его полуэкспромтом, после чего получили ангажемент на следующий сезон...

Придя в ночь с 31 декабря на 1 января на свою основную работу, я слегка посмотрел в телевизор и на пятнадцатой минуте Нового года отправился уничтожать трехсуточную усталость посредством сна. Благо ночь была безосадочной...

Утром 1 января, в шестнадцать тридцать, я навестил своего приятеля, который также накануне работал Дедом Морозом, но по «квартирным» заказам.

Он открыл мне дверь, стоя на пороге в роскошных трусах до колена и с бородой на плече (резинка зацепилась за ухо и не отпускала дед-морозовскую принадлежность на волю). На мой вопрос: «Как дела?» — он пожал плечами, кивнул и выпал мимо меня в коридор.

«Никогда не буду ходить по квартирам», — подумал я...

А как вы думаете?

Десять квартир по пятьдесят граммов равновесного алкоголя... Это, братцы, коктейль «Смерть Наполеону» какой-то...

А несколько дней подряд? Тут имя свое к Новому году уже не вспомнишь, а вы говорите «голливуд»...

АНТИЭПИЗОД #2

Сергея курил на своем излюбленном пяточке на втором этаже общаги. Сегодня он впервые не пошел в институт. Одно упоминание о мастере курса Петровиче будило почти физическую тошноту. А как славненько все начиналось...

Сам факт поступления на этот факультет вызывал щенячий восторг. Еще бы, будущая специальность «режиссер драматического театра» — это вам не пацан с улицы! Есть чем утешить воспаленное прошлыми неурядицами самолюбие! Студенческий билет, бордовый с золотыми буквами, почти два года грел душу...

И потрясения поначалу были только положительного характера. Ну, например, чего стоило известие, что по окончании сессии, в день сдачи экзамена по специальности, педагоги курса (Петрович, Бадо и две прошлые актрисы) должны быть приглашены на банкет. То, что студенты отмечают сдачу сессии, да еще в «творческом» вузе, — это понятно. Но приглашать преподав?..

Эта новаторская дерзость многим пришлось по вкусу. А почему — нет? Вечер, закончившийся следующим утром, удался на славу. Одногруппница Анна гадала желающим по ладошке; хорovým песням, анекдотам из жизни звезд и остроумным, блистательным шуткам Петровича не было конца, а скромность закуски с лихвой компенсировалась высококалорийными напитками.

Второе потрясение произошло, когда Петрович после неизбежной постсессионной разлуки навел шороху и недвусмысленно дал всем понять: совместный банкет — не повод для панибратства; стружка снималась, снимается и будет сниматься в количестве, необходимом для производства утонченных буратин из бревен, поставляемых общеобразовательной школой. И это не могло не вызвать уважения.

Но кирдык подкрался незаметно.

На втором курсе студенты начали замечать чрезмерную увлеченность шестидесятилетнего Петровича эротической тематикой. Причем даже там, где ее не было в принципе. Возьмет Петрович очередную пьесу какого-нибудь заслуженно забытого советского автора и давай ее анализировать в «плейбойском» ключе.

Поначалу было смешно. Попробовали на досуге даже чеховскую «Чайку» таким же макаром раздербанить. Легко! Смогли с помощью текста обосновать, что Костя

Треплев застрелился из-за домогательств собственного дяди — Сорина. А Маша Шамраева вышла замуж за Медведенку, отчаявшись завоевать сердце Нины Заречной, которую влекло к Аркадиной. А Костя все тянулся к Тригорину и, мечтая с ним сблизиться, даже начал пописывать всякие пьески... Надорвав животики, студенты-экспериментаторы пришли к выводу, что система Станиславского действительно позволяет поставить спектакль хоть по телефонной книге. Ну, посмеялись и посмеялись. Можно и забыть.

Но забыть не получилось. С каждым занятием становилось все очевидней, что у Петровича вскопился такой мощный пунктик, что практически все пьесы, репетируемые на курсе, стали приобретать оттенок не то «Эммануэли», не то «Девяти с половиной недель». Появилось опасение, что если так пойдет дальше, то можно и до «Ста двадцати дней Содомы» в постановке Пазолини «дорости».

Кстати, в группе собрались люди вполне взрослые, жизнь повидавшие и от слова «секс» в обморок не падающие. У одной из студенток вообще было трое детей. Но даже прошедшие огонь и воду по медным трубам постепенно начали ощущать некоторую оскомину в театральном-половом вопросе. Тем более что подмостками этот вопрос не ограничился.

В разгар одного из «сессионных» банкетов к старшим подругам подошла дагестанка Лиля. Бледная, перепуганная, губы дрожат... «Лилька, ты чего такая контуженная?» — «Меня... Меня Бадо хочет... Чего делать-то?» — «Ну... Ты девочка большая, сама решай...»

«Большая девочка» понимала, что уступка нетрезвому «второму мастеру» ничего, кроме позора, не принесет, и решила этот вопрос по-дагестански: тихонько уликнула с банкета, а потом перевелась с потерей курса на другой факультет...

Но контрольным выстрелом в Синюю птицу Серегиных мечтаний о большом и светлом искусстве стала история с Рыжим. Это был невысокий (действительно люто рыжий) парнишка с развеселыми конопушками по всей вечно улыбающейся физиономии. С врожденным талантом доводить публику до колик, ничего при этом особого не предпринимая.

Серега сам видел, как однажды на одном из концертов Рыжего послали спасать положение: непобедимая советская аудиотехника зажевала пленку с фонограммой, нужно было перемотать оркестровку на следующий номер, а актерам — срочно переодеться на неожиданный выход. Пауза при закрытом занавесе могла неприлично затянуться, поэтому Рыжего командировали «на прорыв». Он вышел на авансцену и устоял в зал.

Тишина.

Через полминуты зал начал похихикивать. Потом хохотать. Потом разразился громом аплодисментов. Из-за кулис было не видно, что там на сцене происходит, поэтому Рыжего потом засыпали вопросами: «Что ты делал?» — «Да ну... Дурные какие-то... Я просто вышел, постоял, а они ржут и ржут...» Он действительно просто вышел и постоял... Этого было достаточно, чтобы зал начал умирать от хохота. Талант? Стечение обстоятельств? Публика — дура? А думайте, как хотите, но Серега воспринял это как мастерство Рыжего. Это уметь надо — так постоять...

...И надо было Рыжему влюбиться в однокурсницу, которая была на полторы головы выше и значительно богаче по комплекции, что своей комичной несочетаемостью уже обрекало эту влюбленность на традиционный драматический исход. А тут очередное окончание сессии с вытекающей из него пьянкой студентов с педагогами на квартире.

Препода были, как всегда, в отличной форме, и часам к трем ночи Бадо традиционно начал распускать руки и другие конечности организма. Объект влюбленности

Рыжего оказался в поле зрения Бадю, изнывающего от острого приступа спермотоксикоза. И вскоре парочка переключалась изучать особенности отечественной драматургии в ванную. Чего уж там происходило — одному кафелю известно, но барышня потом при упоминании кем-либо имени Бадю, кокетливо поджимая губки, не без удовольствия роняла: «Ф-фу! Извращенец!»

А Рыжий в ту ночь изнывал от ревности и невозможности вызвать обидчика на дуэль. Единственное, что он себе позволил, это нащелкать Бадю (уже бессознательно лежащего лицом на столе) по носу. И Рыжий отщелкал бы этот нос напрочь, если бы не помешали более трезвые сокурсники.

Рыжий впал в депрессию, перестал ходить в институт, пьянствовал, курил траву и вел нетрезвые разговоры про красоту смерти. Потом он куда-то пропал. Серега был в бешенстве: «Если с Рыжим чего случится, я эту с-с-с... зубами порву!» И друзья понимали, что жизнь Бадю может оборваться совершенно непредсказуемым образом.

Рыжий нашелся в Подмоскowie: поступил учиться на актера кукольного театра.

Бадю получил право на жизнь, Серега успокоился, но от театральной атмосферы его мутило все больше...

ЭПИЗОД № 3

...Жидкокристаллические цифры будильника показывали начало восьмого.

Что-о-о?! Проспал? Забыл поставить звонок? А?! Вскликаю и понимаю, что это приснилось. Сон такой. Дурной... Ф-ф-фу-у-у...

А на самом деле сейчас...

А-а-а!!! А на самом деле сейчас половина седьмого. Проспал. Проспал все-таки! Зараза... Хорошо еще — до работы пять минут быстрым шагом. (Зря, что ли, остался жить в студенческой общаге, а не переехал в ведомственную, на краю города?..) Может быть, еще диспетчер даст какую-нибудь замену; может быть, еще получится обойтись безо всяких там объяснительных; может быть, еще не придется дать повод позлорадствовать начальнику отдела эксплуатации, с которым и так не очень давно выясняли, «кто есть who»...

Завтрак отменяется. Сумку — на плечо. Куртку — под мышку. Вперед. Почти бегом по этажу, вниз по лестнице, через турникет вахтерши...

А кстати, чего это студенты по общаге шляются в такую рань? Спали бы себе покойненько перед лекциями, так нет же... Во, делать нечего...

А собственно... Минуточку... По утрам студенты так себя не ведут. По утрам они, хмурые и заспанные, чистят зубы, не выпуская изо рта сигарету, и бредут в сторону метро, досыпая на ходу. А сейчас... Бодрые-веселые, прыгают-хихикают, как ни в чем не...

Подхожу к телефону-автомату в вестибюле. Неужели... Набираю «ноль восемь». Гудок. Щелчок.

Металлический голос: «Восемнадцать часов тридцать шесть минут...» Сердце прыгает и просится на волю.

Выхожу на улицу.

Надо же... Сегодня была утренняя смена. Я после нее традиционно дополз до койки и упал, уже созерцая какой-то сон. Поэтому кошмар про опоздание на утренний выезд получился слишком реалистичным... Все скамейки в скверике перед общагой заняты. Что ж, направляюсь в любимый кафеюшник на улице Строителей.

Кстати, Рязанов опять не прав.

Нет в этом городе никакой Третьей улицы Строителей. Есть только одна. И та состоит из десятка домов эпохи позднего сталинессанса. И та уже называется не улицей

Строителей, а улицей Маринеско. Переименование произошло в начале девяностых, и я, откровенно говоря, воспринял это как оскорбление: в те годы шквал переименований доводил до полного отторжения.

Доходило и до курьезов.

«Почему государственный университет перестал носить имя Жданова, почему кораблестроительный завод переименовали из „имени Жданова“ в „Северную верфь“, а набережная на Петроградской стороне по-прежнему называется Ждановской? Сколько можно издеваться над памятью жертв этого подонка?» — «Простите, но к Ждановской набережной этот, как вы сказали, подонки никакого отношения не имеет. Набережная названа в честь братьев Ждановых, выдающихся ученых-химиков еще до советской власти». — «Да-а-а-а?..» — «Так, уважаемые петербуржцы и гости нашего города, позвольте вмешаться в вашу дискуссию. Интеллигентно выражаясь, хватит молоть обоюдную чушь. Ждановская набережная названа в честь реки Ждановки. А река Ждановка так называлась еще с 1778 года. Кроме того, она в начале восемнадцатого века носила имя Болотный проток, к середине века она стала Никольской речкой, а к концу того же века переименовалась в Петровку. А набережная стала строиться в восемнадцатом веке в качестве проезда вдоль правого берега Ждановки. Но в одном вы правы: питерский палач русского народа Жданов к названию этой набережной никакого отношения не имеет». — «Да-а-а-а?.. А к названию реки Ждановки?»

Впрочем, баталии ревностных патриотов Питера с патриотами менее ревностными — это тема для отдельной диссертации. Например. Сидели мы как-то в честной компании, отмечали наступление очередного праздника. Белая ночь постепенно переходила в хмурое утро, располагающее к терзаниям типа «братан, ты меня уважаешь?!». На кухне разгорелся какой-то вялотекущий спор о мировой культуре, колыбелью коей является, естественно, Северная столица. И в качестве аргумента из уст одной спорщицы пару раз вылетело: «Мы, петербуржцы... Я, как петербурженка...» Угрюмый оппонент, много лет изображающий Петра Великого на празднованиях Дня города, взвился кострами: «Кто-кто ты?» — «Я? Петербурженка!» — «Да ты че гонишь, лимита! Какая ты петербурженка?!» — «Что?! Я... Да я... Да у меня бабушка в этот город... Да я в третьем поколении!!!» — «Вот я и говорю: в третьем поколении! Какая ты, на фиг, петербурженка? Ленинградка ты рваная, а не петербурженка!!!» Дело вполне могло закончиться бытовухой с поножовщиной, но ножа не нашлось, поэтому дуэлянты ограничились брудершафтом.

Но вернемся к улице Маринеско (в девичестве — Строителей). Что за Маринеско, я понятия не имел. Несколько человек на открытии мемориальной доски на доме да несколько строчек в газете по поводу «награда нашла героя»... И лишь спустя время я узнал об этом легендарном герое подробнее. И мысленно снял шляпу. И не грущу, что «Ирония судьбы» осталась без топонимического прообраза. Шут с ним, с прообразом...

...Лето утешает тем, что луж все-таки меньше, чем весной, листья висят пока на деревьях, не надо включать в кабине печки, а за окнами — белые ночи, словом, полные валенки романтики.

Но утешение — это еще не страховой полис, гарантирующий счастливую жизнь.

Летняя жара легко превращает уличные +25° С в +50° С в кабине, нисколько не уменьшая радикулитные сквозняки изо всех щелей. Шорты надевать на работу нам запретило руководство, дабы не оскорблять эстетические струны пассажиров волосатой кривизной. Да оно и к лучшему: вечером шорты сам не наденешь — комары зажрут.

После +30° С быстро ехать вредно. Нет, конечно, ветерок из форточки — это приятно, но есть одна особенность... Забыл я, между прочим, про эту особенность.

Остановка «Смоленское кладбище». Конечная. Вагон пустеет. Впереди и чуть левее за мостиком (как же он называется?) — обратное кольцо. Сейчас крутнусь и — в об-

ратный путь... Привычно влетаю на мостик и только тут замечаю, что контактный провод, который через пантограф питает трамвай, угрожающе болтается из стороны в сторону. Притормаживаю, но уже поздно. Раздается посторонний стук, загорается лампочка «напряжение сети», звенит звонок. Порвал?.. Трамвай по инерции вползает на кольцо. Курившие на мостике мужики в оранжевых жилетах не спеша бредут к вагону и смотрят куда-то на крышу. Выхожу.

А-а-а... Все ясно. Пантограф лежит на боку и укоризненно поблескивает контактной вставкой. «Ты его еще перед мостом болтать начал», — с добродушной ухмылкой говорит один из мужиков про контактный провод. «Зараза, — думаю, — а что, слабо было как-то дать понять о проблеме?»

Вот оно наше, родное: давай посмотрим, чем кончится... Созерцательность как основная черта русского национального характера, чтоб ее...

К счастью, контактный провод не поврежден, значит, график остальных коллег сорван не будет. Это уже неплохо...

Поясняю. В жару полагается медный контактный провод подтягивать, так как он в силу нагревания и бесчеловечных законов физики начинает провисать. И чтобы разные олухи, неготовые к жаре и ездящие с прежней скоростью, его не оборвали, специально обученные дяденьки должны покрутить специально созданные болтики. Но дяденьки обычно забивают на эти болтики, и олухи периодически рвут контактный провод или заваливают хрупкие пантографы ни в чем не повинных вагонов.

Теперь остается ждать буксир. Заодно и позагорать можно... И подумать о чем-нибудь, кроме любимых пассажиров и графика.

Например, можно подумать о том, как меня вообще занесло в вагоновожатые. Вот уж, действительно...

Помню, как все десять классов средней школы нас дрессировали: «Будете плохо учиться — пойдете в ПТУ!!!»

Позор на весь мир. И мы уже к восьмому классу понимали, что ПТУ — это полный отстой, недаром расшифровывается: «Помогите Тупому Ученику»... И что после ПТУ? Кому ты нужен? Все! Ты — пролетарий! Гордый представитель революционного класса. Презираемый всеми, кроме товарищей по несчастью. Все расписано по нотам советской плановой экономики: ПТУ—армия—фабрика (завод, автопарк, стройка и т. д. и т. п. со всеми остановками вплоть до ЛТП). Ужас...

Поступить в вуз — вот предел мечтаний любого школьника той поры, на которого не махнули рукой папы-мамы. Да, это катастрофа для любых образованных родителей: чадо в ПТУ. Своя сермяжная правда в этом, конечно, была. И тем не менее страх перед ПТУ и пролетариатом сидел в подсознании покруче всяких фрейдистских шуточек-дрючек.

Но голод — не тетка. Когда ты уже ушел из вуза по абсолютно собственному желанию, поняв, что не твое это все и тратить годы на постижение теоретической механики, сопромата, технологии конструкционных материалов, высшей математики и прочего нет никакого энтузиазма; когда в связи с этим ты лишился единственного источника доходов — стипендии в тридцать восемь рублей пятьдесят копеек; когда в паспорте твоем стоит студенческая прописка, не дающая тебе права устроиться ни на одну работу, — волей-неволей возникает философский вопрос о смысле жизни и о том, как эту самую жизнь поддержать, оставаясь в рамках закона...

Чем институт не понравился? Да бросьте, я этого не говорил. Институт — что надо. Ордена Ленина. Ленинградский. Кораблестроительный. (Или, как язвительно расшифровывали аббревиатуру ЛКИ завистники из других вузов, — Ликеро-коньячный институт. Мерзавцы...) Поступил я в него по двум причинам.

Во-первых, потому что я семь лет занимался судомоделизмом и кое-чего в этом деле достиг (по крайней мере, солидная пачка разных дипломов позволила избежать длинного разговора на собеседовании перед сдачей вступительных экзаменов), а во-вторых, только на одном кораблестроительном факультете в те годы было девять коллективов художественной самодеятельности, входивших в клуб «Корабел». А стройотрядовские агитбригады? Из ССО «Садко», «Атлант», «Норд»... Нынешний КВН и рядом не шутил! А группы «ББА» («Бритос бородатос алиментос») и «РеДисКа» («Ретро-диско-кантри»)? Все теперешние «фабрики звезд» удавились бы на лифчике примадонны от зависти...

При чем тут вся эта самодеятельность? О, это длинная история... Рассказать? Ну, ладно, так и быть, только вкратце. Хорошо?

В шестом классе я впервые услышал Высоцкого. Незадолго до этого прошла триумфальная премьера «Места встречи», и я, увидев в витрине магазина портрет Жеглова на конверте гибкой семидесятикопеечной пластинки, упросил мне ее купить. Дома поставил пластинку на не очень еще старенький «Аккорд» и... И это был шок. Я понял, что давно хотел услышать такое, но не знал, как это назвать. С этой пластинки и началось.

Высоцкий взял меня за руку и повел в свой удивительный мир. Там были Шекспир, Пушкин, Есенин, Маяковский, Кэрролл... Там жили герои, жаждущие правды и готовые за эту правду отдать все и чуточку больше. Высоцкий познакомил меня и с классикой реализма, и с классикой авангарда и дал гитару в руки... А потом отпустил и сказал: «Теперь — давай сам...» Интересно, скольким мальчишкам Советского Союза он заменил отцов?

Да, класса с восьмого я бредил театром, но, несмотря на бред, понимал, что сразу после десятого поступить в театралку провинциальному абитуриенту практически невозможно.

«Что ж, начнем издалека», — решил я. И этим «издалека» стал кораблестроительный институт. Я честно начал изучать чуждые моему организму предметы, ибо искусство требует жертв.

После первого курса в моем «бардовском» багаже (а какой ты актер, если не пишешь песен?) появился опус следующего содержания:

Я проснулся от кошмара, зубы лязгают, искря.
Я терпел, но не сдержался в середине октября...
Но, наверное, напрасно обращался я к врачам,
И кошмары начерталки продолжались по ночам.

Я кручусь и так и эдак, принимаю димедрол,
По утрам водой шлифуюсь и играю в волейбол,
Но усилия напрасны, я бессилён — вот так смех:
Распрощался с начерталкой — начал сниться теормех.

Теормех травил упорно я зубрежкой целый год.
Стал смеяться надо мною весь общаговский народ...
С теормехом развязался, но из глотки рвется мат:
Я ходить по стенкам начал — мне приснился сопромат.

Сопромат в мозги не лезет — вот загадка для наук!
Сопротивляется башка-то сопромату — вот так трюк!
Я под утро засыпаю или в люстре, иль в углу
С сопроматовской ухмылкой в перекошенном мозгу.

Ночь за ночью — бред в кошмаре, а наяву еще облом:
Я узнал на пятой паре — приближается диплом...
Видно, уж судьба такая — не исправить силачам, —
Что чего-нибудь кошмары вечно будут по ночам...

До корабелковского диплома добраться мне было не суждено. Жажда театра была прямо пропорциональна нелюбви к точным наукам. И эта нелюбовь победила и отравила меня прямым жарким объятием военкомата. Через два года я вернулся в другую страну. Эйфория горбачевской «оттепели» сменилась тяжелой абстиненцией: статью о тунеядстве в те годы еще никто не отменял, равно как и преследования за нарушения паспортного режима.

Сунулся в несколько мест — везде одно и то же: лимитная прописка отменена, потому мы бы с радостью, но, увы... Нужна мне ваша радость!

Поработав вахтером в спортзале ДОСААФ на заводе «Красный треугольник», научился спать сутками и после этого еще отсыпаться. Через три месяца с восторгом уволился и вздохнул с облегчением.

И вдруг случайно в трамвае увидел объявление о наборе в группу учеников водителей, телефон для справок и адрес. Звоню.

«У вас еще идет набор?» — «Вообще-то, группа у нас уже сформирована и отправлена на картошку, но несколько мест еще есть, приходите...» — «Видите ли, я — иногородний...» — «Ничего-ничего, приходите». — «Вы, наверное, не поняли: у меня нет местной прописки, я...» — «Молодой человек, все понятно, приходите».

Чудеса советского права: сразу в парк учеником водителя трамвая меня не взяли (из-за прописки), а в ПТУ № 70 — пожалуйста. Ученическая прописка на время учебы, по окончании — постоянная прописка в рабочем общежитии... Так из бывших студентов и бомжей я вознесся в законные жители славного города...

Кстати, в ПТУ больше половины учащихся нашей группы работать на трамвае не собирались. Они просто хотели перегедовать перед следующим летом и спокойно поступить в какой-нибудь вуз. Как правило, это были абитуриенты-неудачники, провалившиеся на вступительных экзаменах после десятого класса.

Что же касается пролетариата... Такого пролетариата, как здесь, в этом городе, я не встречал нигде. Не скажу, конечно, что все повидал, везде побывал, но тем не менее...

А трамвайщики — вообще пролетарская элита. Особая каста. Несмотря на то, что почти половина слесарей — бывшие эски. Добрейшие люди, кстати, последним поделятся. А тюрьма... Так то ж — от глупости (выпил-подрался-сел) и от особенностей нашей юриспруденции (кто-то же должен сидеть, если есть тюрьмы, не банкирам же с депутатами Госдумы туда отправляться, в самом деле!).

Был, например, среди слесарей (из несидевших) в прошлом киномеханик из кинотеатра «Титан», что на Невском. Ну, киномеханик для трамвайного парка — это ж почти Феллини с Михалковым в одном флаконе. А для самого Алексея (так его звали) трамвайный парк — вынужденная сфера получения средств к существованию. Впрочем, собственное существование его заботило довольно мало, но вот жена с ребенком были главной причиной, которая заставляла добывать хлеб насущный. И вот как-то после очередной смены добычи этого самого хлеба вышли мы с ним за ворота парка. «Слушай, ты не очень спешишь?» — спрашивает Лешка, а глаза печальные-печальные, как будто выпить хочет, а не дают. Словом, затащил он меня к себе домой. На вернисаж, как выяснилось, а не просто выпить. Слесарь-киномеханик оказался классным художником-самородком. Картины писал — закачаешься. Без дураков. Ему бы толкового «толкача»-галериста, но... А кому в эпоху глобального дербажа государственной собственности нужны художники? Ой, таки не смешите мою жилетку... Они и в лучшие-то времена не шибко-то, а тут...

«Ты знаешь, — говорит Леха, показывая довольно оригинальный портрет своей жены, изображенной с полужакрытыми глазами и приоткрытым ртом, — я заметил, что у женщины перед тем, как чихнуть, такое же выражение лица, как во время оргазма...» Нет, надо быть подлинным художником, чтобы такое заметить. Обычному пролетарию, убежденному, что Модельяни — это ругательство, и в голову не придет сравнивать выражение женских лиц при столь разных обстоятельствах...

Но были художники своего дела и среди вагоновожатых.

Ярким представителем пижонистого класса первоклассных водителей был наш инструктор по вождению Виктор Михалыч — истинный король стальных магистралей. Месяц мы с ним изучали премудрости общения города и трамвая.

«Дави! Их много!» — веселился Михалыч, когда зазевавшийся практикант не успевал вовремя начать торможение перед светофором. Инструктор дергал свой контроллер (на учебном вагоне управление продублировано для подобных ситуаций), вагон замирал на «зебре», а недовольные пешеходы сновали перед бампером, не осознавая, что ежедневно остаются в живых только благодаря таким Михалычам.

«Мыльницу не зашиби! Не видишь, человек и так по жизни обижен!..» — прикрикивал Михалыч, сдерживая вагон от наезда на нелепо подвернувшийся «запорожец».

«Ну, чего заснул? Езжай, цветы уже куплены!» — это наш одноклассник излишне нервно затормозил, увидев парочку, переходящую пути метрах в ста от нас: барышня восторгается букетом, кавалер — барышней, им обоим — не до трамваев.

«Не спеши! Пропусти скотовозку, видишь — на обед спешит человек», — это рейсовый «икарус» сунулся было первым проскочить негабаритное место, где двоим одновременно не разъехаться.

«Никогда, никогда не гоняйтесь за штампами! — внушал нам Виктор Михалыч. — Ваша задача: довести мясо в целости, а товар непобитым! Все равно штампы на всю бригаду делятся...»

Поясняю про штампы. Если ты приехал на кольцо, где сидит диспетчер, четко по графику (не позже, чем на три минуты, и не раньше, чем на две), то диспетчер в твоем путевом листе отмечает время прибытия и ставит штамп. Это значит, что за этот рейс полагается премия.

Если ты в график не вписался (неважно, по какой причине: плохо знаешь этот маршрут, сломался по дороге, перед тобой кто-то сломался и долго не мог убраться восвояси и т. д.), то вместо штампа тебе поставят большую букву «Хы», означающую, что вместо премии за этот рейс твоей бригаде полагается «Хы».

В конце месяца штампы суммируются, делятся на всю бригаду, и выплачивается премия по итогам месячной борьбы трамваев с пассажирами. Ты можешь всю смену пластаться, как четыре Корчагина под руководством Стаханова, но если на дворе весна, а на путях лужи, или если на дворе лето и контактный провод провисает почти до крыши, или если на дворе осень и... (ну, про осень — позже)... Короче, несколько «Хы» твоему листу гарантировано, потому что график составлен для асов, работающих в сухую погоду и на другом маршруте. Но тем не менее многие водители привыкают «охотиться» за штампами (есть в этом особый кураж) и проскакивают перекресток под желтый сигнал светофора, прыгают по стрелкам, угрожающе скрежещут на поворотах — в общем, всячески предоставляют судьбе возможность превратить пассажиров в пациентов. Об этом нас и предупреждал Михалыч.

«Виктор Михалыч, — решил я перепижонить своего наставника, — а можно где-нибудь достать электрическую схему трамвая?»

«Тебе зачем?» — удивленно взглянул на меня Михалыч.

«Н-ну, интересно...» — пробормотал я.

«А-а... Нет, если интересно, я, конечно, сделаю тебе „синьку“²... Давай так. Если ты найдешь в городе хоть один вагон, который соответствует этой схеме, — с меня ящик коньяку, а если нет...»

Жизнь показала, что я оказался прав. Потому что не стал спорить с Михалычем на ящик коньяку.

Вот картинка из жизни депо с заявочной лентой. Открываются ворота. Заползает вагон. Из «курятника», расположенного на уровне вагонной крыши, выглядывает дядя Вова (слесарь с многолетним трамвайным и тюремным стажем), взирает, как Илья Муромец с васнецовской картины, из-под ладони и бухтит под нос: «Та-ак... девяносто пять сорок шесть... Компрессор небось...»

Водитель подводит вагон под «курятник».

«Ну?.. Чего там у тебя?» — вопрошает дядя Вова, щелчком отправляя потухшую беломорину в просторы депо.

«Дык это... Опять компрессор не фурычит!»

«Ага... Еще бы он у тебя фурычил...» — ворчит дядя Вова, слезая на грешную землю.

Водитель еще до диспетчерской не дошел, как дядя Вова, зачистив зубами концы проводов и замотав скрутку изолянткой, машет перегонщикам: «Эй! Готово! Забирай!»

Вот так, на скрутках и изолянтах бесчисленных дядь Вов, и ездит многомиллионный город, видя в трамвае романтический символ стабильности и надежности...

Что любопытно: романтичность профессии вагонОВОЖАТОГО осознают не только желторотые пэтэушники. Все мои знакомые, узнав, что я теперь не абы кто, а целый водитель трамвая, жутко оживлялись: «Во! Мы к тебе кататься придем! Бесплатно...» Как будто я билетами торгую. На трамвай. Мне-то что? Катайтесь хоть целый день. Ваш бесплатный проезд — проблема контролеров, шляющихся на линии и штрафующих зазевавшихся «зайцев»...

...Нет, ну романтика, конечно, присутствовала. В первое время. Месяца два. Я даже недоумевал: зачем нужны все эти сеги-меги, игровые приставки к телевизорам (компьютерные игры тогда еще были не слишком распространены), если есть возможность работать на трамвае? Реальный адреналин плюс все необходимые спецэффекты.

Постепенно обнаружилось огромное количество раздражающих факторов: сумасшедшие «чайники», умудряющиеся подрезать трамвай, обгоняя его по путям слева; бесчисленные духовные дочери Анны Карениной, бросающиеся на рельсы в попытке увернуться от брызг из-под колес вышеупомянутых «чайников»; одаренные пассажиры, ежедневно добивающие вопросом, на который невозможно ответить: «Как мы едем?», и просьбой-требованием: «Откройте здесь, мне надо!»; и, конечно, начальство, начинающее ежемесячный инструктаж бескомпромиссным: «Отвратительно отработали прошлый месяц!» А я при чем? Никого не зарезал, не зашиб, количество живых пассажиров, зашедших в вагон, равно количеству вышедших... Чего еще надо? Воспитатели! Дрючите вон пешеходов на перекрестках! Ф-фу, чего-то я разошелся.

Да, а что касается пролетариата, то в его рядах оказалось много разношерстной публики: убежденные работяги из вологодско-архангельских деревень, бывшие педагоги, артисты... Кстати, я, лелея мечты об артистической карьере и занимаясь в студенческом театре, любил пошутить, что в нашем театре нет трамвайщика лучше меня, равно как в парке № 9 нет более крутого актера, чем я...

...Вот и буксир подошел. Не прошло и двух часов. Сцепились, поехали. В парке дали замену. Еще кружочек сделал, и все — конец смены. Славненько денек прошел...

² А не было тогда такого понятия, как «ксерокс». Копии имели непременно синий цвет, потому и «синька».

АНТИЭПИЗОД #3

...Итак, Серега курил на своем излюбленном пяточке на втором этаже общаги.

Шла первая неделя очередной сессии.

Конечно, приятно было встретиться с однокурсниками. Во-первых, люди подобрались интересные, действительно творческие, во-вторых, атмосфера в группе (вопреки преподавательской половой озабоченности) потрясала братско-сестринской чистотой. Все прекрасно понимали, что у каждого за стенами института своя жизнь, и закручивать дешевые интрижки не хотелось. Да и времени на это не было: занятия начинались в половине девятого утра, а заканчивались около девяти вечера.

Даже в магазин сходить было некогда (в те славные времена от талонов отвыкать уже начали, но ближайший круглосуточный гипермаркет был в Финляндии). Отоваривались по воскресеньям — на всю неделю. А если кто не успел — имей краткосрочный перекус в буфете, куда набивается несколько групп изголодавшихся хомо студентикус, и твой шанс зажевать горячий бутерброд и успеть на следующую пару становится бесконечно малой величиной. И так — целый месяц сессии. А потом — буде ты станешь актером али, вовсе наоборот, режиссером — жить и питаться придется в этом режиме до конца карьеры. Не нравится? А тебя кто сюда звал? Сам пришел? Ну и помалкивай. Делай счастливую морду и рассказывай всем, как это здорово: служить большому и светлому искусству, восьмой год выходя в третьем акте со словами: «Куш-ш-штъ подн-н-н-н...»

Пришел Колянч. Молча протянул руку.

Постояли.

«Ты окончательно решил?» — «Да».

Помолчали.

Покурили.

«Анну жалко». — «Жалко». — «Придешь?» — «Приду».

Анна ставила в ту сессию спектакль по жутко советской пьесе «Субботник». Петрович наградил такой пьесочкой. Для возбуждения творческого мышления. Серега там должен был играть занудного пенсюка, достающего всех в субботнее утречко необходимостью выйти на субботник. Зубы сводило от диалогов времен написания «Уберите Ленина с денег». На дворе уже другая эпоха. Уже убрали Ленина (вместе с деньгами). Уже можно было не извращаться, ставя «совковую» дурь. Простор для творчества необыкновенный! Но взлета фантазии большинства режиссеров почему-то хватало только на то, чтобы попытаться завлечь зрителя обнаженными дряблыми прелестями поношенных актрисок.

Вот и Петрович, похоже, продолжал по инерции воевать с системой, сводя счета с уже почившей идеологией социалистического реализма.

Кто бы сказал Сереге несколько лет назад, что он будет кривиться от необходимости выходить на сцену... Ох, повеселился бы Серега над таким придурком! А вот на-кася...

...Что такое этот пресловутый сладкий «яд театра», Серега почувствовал во всей мощи, когда его вводили на роль Тригорина в их студенческую «Чайку». В то время вчерашний дембель только-только осваивался в гражданской жизни, потому многое воспринималось особо остро: казалось, двухлетняя вынужденная изоляция очистила и ум, и душу от прошлого жизненного опыта... И вот когда вышла из-за кулис Нина Заречная, Серегу переклинило. Он вдруг почувствовал, что перед ним действительно та самая чеховская провинциальная барышня, а вовсе не студентка Корабелки Люда Фролова (которую Серега за ее миниатюрность и вечно ласковую улыбку окрестил про себя «Люсенок»). Немудреная сценическая выгородка превратилась в берег «колдовского озера», чеховский текст — в собственные Серегины мысли, а сам он на несколь-

ко минут стал знаменитым беллетристом, уставшим от суеты и своей постаревшей, вечно истеричующей гражданской жены... А тут улыбается светлый ангел — Нина, своей чистотой исцеляющая уставшего путника...

Репетиция закончилась. Наваждение рассеялось. Берег озера снова стал паркетным полом репетиционной комнаты. Но осталось ощущение этого удивительного путешествия в иную реальность.

Потом был еще один такой полет. Друзья, покидая общагу после защиты диплома, оставили «в наследство» целую коробку магнитофонных пленок. В то же время в репетиционной завалился чей-то старинный катушечный магнитофон «Комета». Серега вытащил первую попавшуюся бобину, заправил пленку в магнитофон и...

«Чуть пом-м-медлен-н-н-ее, кони, чу-уть пом-медлен-н-н-ее...»

Играющая на полу «Комета», пыльная лампочка под потолком, окурки «Беломора» в консервной банке... Где-то хрустнули невидимые шестеренки, и время опрокинулось лет на тридцать назад. Острейший запах времени: будто кто-то из питерских диссидентов только что тайком принес свежие записи Высоцкого. Послушать на ночь. А завтра — вернуть...

Когда ставили липскеровскую «Школу с театральным уклоном», там и вовсе произошло пугающее слияние реальности с пространством сцены. В самом конце спектакля происходит эпизод, где Серегин персонаж в припадке ревности убивает свою жену (вернее — чучело, которое весь спектакль играет роль его жены). То ли переусердствовал Серега на репетициях, то ли во время спектакля взвинтился сверх меры, но к моменту этой сцены он начал чувствовать некую раздвоенность: словно его изумленный рассудок слегка отсел в сторонку, подвинулся и с интересом наблюдает, как полупостороннее тело грохочет монологами и мечется по подмосткам. Момент шинкования кухонным ножом ни в чем не повинного чучела и вовсе стал кульминацией в Серегиных отношениях с системой Станиславского.

«Нам удалось создать ощущение, что на сцене не чучело, а реальный человек?» — спросил Серега у завсегдага студенческих спектаклей Вадика Поникаровского.

«Насчет чучела не знаю, но убивал ты его по-настоящему», — ответил Вадик. Вот тут-то Сереге и стало действительно страшновато.

«Да уж... Не на всякую роль стоит соглашаться», — подумал тогда Серега...

Был случай и прямо противоположный...

Студенческий театр под радикальным названием «Перелом» (при корфаке ЛКИ) стал для Сереги домом. В прямом смысле. Уже давно покинув стены этого вуза, он продолжал находиться в общежитии кораблестроительного факультета, поселившись в репетиционной комнате «Перелома». Не потому, что жить было негде, вовсе нет, а потому, что отсюда до работы — десять минут неспешным шагом. А из рабочего общежития — двадцать пять минут на развозке. Если не проспичь...

Выполняя функции «хранителя театрального очага» (сторожа, если по-простому) и поигрывая в разных спектаклях вышепоименованного коллектива, Серега незаметно для себя стал отчасти и декоратором театра, и поваром, и директором странно-приимного дома для не успевших на метро сотоварищей по подмосткам, и даже — страшно сказать! — генеральным секретарем Партии пересолистов!

Студенты — народ до всяких выдумок неугомонный и до всяческого креатива дюже охочий, потому как-то — слово за слово... То ли в ответ на существование «Митьков», то ли безо всякого ответа на беспросветность перестройки, так, на пустом месте, в сентябре легендарного 1991 года и появилась Партия пересолистов.

Но! Не от слова «солить», а от слова «солировать». Это важно. Ибо всякий нормальный пересолист приходит в бешенство от вполне невинного вопроса какой-нибудь блондинки: «А что вы солите?»

Как у всякой уважающей себя партии, у пересолистов появился даже свой гимн. Петь его полагалось хором, после пробуждения, выходя на крышу в простыне и сланцах. Однако поскольку все члены партии просыпались совсем в разное время, то Питер был лишен уникального зрелища. В зародыше прямо...

Что? Гимн? Да пожалуйста...

Отжурчала вода в унитазе,
Отзвенел телефон под матрацем,
Холодильник утерся слезою
Безгранично пустого пространства.

Отлетает листок календарный
И ложится в мозаику собратьев,
А ладони уставших проспектов
Обмывает ночная прохлада.

Гаснет вечера синий фонарик,
Облегченно вздыхает бумага,
Недопитая чайная помесь
Будет ждать подогрева наутро.

Отшумят переулками годы
Монуменстами строк рукописных,
И прелюдии наших аккордов
Будут признаны гением истин.

И поставят на площади мрамор,
А на мраморе — наши лица.
Назовут моим именем время
И истории лучшей страницей...

Чего? Рифмы хромают? А что вы понимаете в пересолизме? А? В его течениях? В сюрре-солизме, на-солизме и по-солизме? А фирменное блюдо пересолистов «Делишбьяк» пробовали? Нет?! То-то! А туда же — критику наводить...

Что? А... Рецепт «Делишбьяка» записать? Ладно... Берите карандаш, бумагу и конспектируйте.

Покупаете пару-тройку югославских супов в пакете... Где вы их возьмете теперь, когда уже и страны, их производящей, не стало, — не мое дело. Мое дело диктовать. Итак, продолжим. Всыпаете в кастрюлю с кипящей водой, варите до готовности.

После готовности варите до полного выпаривания воды. После выкладываете на раскаленную сковородку, смазанную чем угодно (если найдете аналог советского маргарина в пергаменте — честь вам и хвала, ибо это идеальный вариант для данного рецепта). Прожариваете для окончательного удаления остатков воды и образования поджаристой корочки.

Подаете на стол.

Если кто-то за столом скривил свою мордочку — можете заехать по той самой мордочке этой самой сковородкой. За неуважительное отношение к блюду, которое в начале девяностых было одним из наиболее популярных и калорийных.

Чуть позже понятие «Делишбьяк» расширилось, включив в себя все, что используется вопреки первоначальному рецепту. Например, застряли как-то Серега с другом

у одной питерской барышни ввиду (как всегда, «внезапного») развода мостов. Из еды был только арбуз, употреблять который было невозможно из-за его абсолютной незрелости. Песку сахарного не было. (Напомню, в те годы сахар был по талонам. Равно как и мыло. В связи с чем гулял анекдот: «Вы руки с мылом мыли? Да? Тогда чай — без сахара...») Но голод почему-то в дикорастущих организмах рос прямо пропорционально отсутствию еды. Из принципа, наверное...

Что делать?

Думали не слишком долго. Благо в доме были мука, соль и растительное масло. Обваляли куски арбузной мякоти в муке и — на сковородку. По виду получилось что-то вроде бифштекса с кровью. Классический «Делишбьяк»... Ничего, стрескали. Почти с удовольствием...

Или вот еще эпизод воплощения «делишбьячных» технологий в жизнь.

Игоряныч, старый добрый приятель театра «Перелом» и лично Сереги, был еще и яхтсменом. Однажды его экипажу довелось поучаствовать в спасательной операции. Нет, серьезно. У рыбаков-любителей, возвращавшихся с уловом, внезапно сдулась резиновая лодка. Как говорится, аншлаг подкрался незаметно. Тут-то на выручку неюным натуралистам-ихтиологам и пришли наши яхтсмены. Обрадованные рыбаки (успевшие мысленно попрощаться не только с рыбой, лодкой, снастями, родными, близкими и товарищами по работе, но и с самой жизнью) погибать передумали. Тем более что на борт их подняли не только с амуницией, но и с недопогибшим уловом. На радостях всю рыбу спасенные отдали своим спасателям. К обоюдному удовольствию.

Так Игоряныч пришел к Сереге с приличным пакетом свежей рыбы. Холодильника в репетиционной комнате не было, потому было решено рыбу немедленно приготовить и съесть. Пока добычу чистили, общага погрузилась в сон.

Варить уху было невозможно, ибо из всех специй и приправ в наличии была только соль. Решили жарить. Потому что есть сковородка и растительное масло. Да, но нет муки. А Серега знал, что рыбу, прежде чем кидать на сковородку, надо обвалять в муке, просить которую у знакомых девчонок было несколько поздновато. Если не сказать — рановато. Ибо время клонилось к трем часам ночи.

Идея! Панировочные сухари! Они спасут рыбу и основоположников пересолизма!

Но их нет.

Но можно сделать. Из сушки. Как?

Растолочь.

Где? Ступки-то нет...

Не беда! Остановить задумавшего аферу пересолиста еще никому не удавалось! Сушки — в полиэтиленовый пакет, пакет на газетку, газетку на ступеньку на лестнице. И — молотком, молотком... В муку. Ну, ладно. Не в муку. В сухари.

Рыба была пожарена и уничтожена. Во славу русского флота, рыбаков и пересолизма. Впрочем, случались кулинарные экзерсисы, выросшие в настоящее искусство.

Вадик Поникаровский, с которым Серега познакомился еще в стройотряде «Звездный», считался натурой утонченной и поэтической. Наверное, поэтому точные науки вынудили его (как и Серегу) отправиться за новыми впечатлениями в армию. После которой он восстановился в Корабелке, но так и не захотел наладить с науками этими высокие отношения.

Вообще начало девяностых не располагало к особой учебе. Перебиваясь случайными заработками, студенты (и экс-студенты) пытались элементарно выжить. Устроившись на очередную работу, Вадик, не обращая внимания на хихикающих скептиков, мечтательно сказал: «Эх, получу аванс, сделаю селедку под шубой...» И ведь сделал. Скептиков среди вкушающих блюдо сие не было. Закончились с первой ложки. Потому, когда он изрек о своем желании после полочки приготовить мясо, бывшие скептики просто облизнулись.

И опять Вадик не обманул.

Слой сала, слой зелени, слой мяса, слой лимонов, слой зелени. Гарнир — греча. Ловкость рук и никакого общепита. Унылое мясо из гастронома под воздействием кулинарного гения превратилось в мягкое и ароматное. Неопикуемость восторга могут понять только те, кто сам в те годы видел мясо раз в два-три месяца. Так закалялся дух аскетизма, пофигизма и полного пересолизма.

А Вадик, не написавший ни одной строчки стихов, на вполне законных основаниях именовал себя поэтом. Право слово, чтобы чувствовать себя поэтом, совсем не обязательно иметь какое-то отношение к литературе. Гораздо важнее твое ощущение жизни. Вадик, например, заваривал хороший чай, наливал его в стакан с подстаканником, добавлял лимончик с сахаром и в шортах и шлепанцах выходил во двор общежития, где, усевшись в тени тополей на лавочку, наслаждался чаепитием с сигареткой. Сибаритство? Да называйте, как хотите. Он чувствовал себя в этот момент поэтом, значит, он им и был.

Еще один Серегин друг — Андрюша Яковлев — тоже ценил хороший чай. Да, тогда уже можно было кое-что достать приличное. Если деньги есть. Но их, как правило, не было. Когда же молодому инженеру конструкторского бюро удавалось обрести вожаемую пачку, он всегда приглашал Серегу на сеанс употребления этого колониального товара. Кстати, Андрей последним из Серегиных знакомых, выпускников Корабелки 1990-го, покинул работу по специальности. Не нужны были тогда кораблестроители. Отрасль находилась в гайдаровской коме. Яковлев упирался до последнего. Даже когда больше полугодом не платили жалованья. Уж очень он любил свое дело. Как оказалось — безответно...

...Да. Однако вернемся в репетиционную, которую охранял проживающий тут Серега.

Жил не тужил, но за все надо платить. А что вы хотели? Капитализм с нечеловеческим лицом на дворе. И за аренду восьмиместной общажной комнаты, издревле ставшей репетиционной театра «Перелом», платить стало необходимо. Кому? Да Корабелке, конечно. Правда, обошлись взаимозачетом. Бартер тогда был в большой моде. Потому сошлись на том, что «переломовцы» будут бесплатно отрабатывать на всевозможных институтских мероприятиях. А поскольку мероприятий этих становилось все меньше (некогда стало студентам самодеятельностью всякой заниматься, «Сникерсами» надо торговать), то «барщина» сия была необременительной.

Но вот неожиданно календарь подкрался к майским праздникам. Пришло время выступать на празднике, посвященном Дню Победы. Надо сказать, что среди преподавателей Корабелки было немало участников Великой Отечественной. Раньше как-то обходились без Сереги, а тут... Пришли и сказали: «Надо!»

Чудесно. В этот момент в репетиционной находились, кроме Сереги, верный друг театральной жизни Игоряныч да актриса театра (студентка из герценовского) Иринка.

Очаровательно.

При том, что дополнительно собрать на завтрашний «концерт» никого уже невозможно. Напомню: мобильников тогда не было, а самой модной, потому недоступной, штучиной для связи был пейджер (что это такое, смотрите сами в Интернете, не сидите на шее у дяди-рассказчика).

Что делать? Игоряныч (как профессиональный зритель, а отнюдь не лицедей) из обоймы агитбригады выпадал по понятным причинам.

Иринка подумала и решила исполнить нетрадиционное «Бьется в тесной печурке огонь».

Сереге, кроме своих песен, исполнять было нечего, но они несколько не подходили к торжественности случая. Петь «День Победы» рука не поднималась. Конечно, когда ты не Лев Лещенко, лучше руки прятать за спину.

Правда, тут Серега вспомнил что у него в репертуаре есть пара песенок Вертинского: «Желтый ангел» и «Шарманщик».

На том и остановились.

На следующий день отправились на «Ульянку»³, где и предполагалось проводить торжественный вечер с краткой концертной частью.

Проходя уже мимо станции метро «Автово», Серега понял, что «поймал зажимчик»: горло сжало спазмом. Ни звука. Такое с ним случалось только один раз: на вступительных экзаменах в «кулек». Но тогда все же удалось «раскачаться». А тут... Петь в таком положении было бы крайне затруднительно. И Серега решился на преступление. На то, чего он никогда не делал ни до, ни после. Крикнув коллегам: «Погодите!», Серега подошел к одному из ларьков, коих тогда в Автове был целый дикий рынок, и купил «малек».

Уже идя с трамвайной остановки в сторону «Ульянки», «вокалист-гитарист-переселист» достал «малек» из кармана, лихорадочно сорвал с горлышка «бескозырку» и под возмущенное Игорянычево «Э! Я не с вами!» сделал большой глоток. Вроде отпустило... Ну не принято было в «Переломе» под градусом на сцену выходить. Как-то так сложилось. С одного глотка у Сереги, конечно, ни в голове, ни... Нигде, в общем. Но петь уже было можно.

Когда пришел его черед предстать пред почтенной публикой, он спокойно вышел к микрофонам и запел:

В вече'них есто'анах,
В па'ижских балаганах,
В дешевом элект'ическом аю,
Всю ночь ломаю уки
От я'ости и муки
И людям что-то жалобно пою...

Нет, он не хотел просто спеть песенки Вертинского. Он не хотел петь «под Вертинского». Этого ему уже было мало. Ему хотелось сыграть Вертинского, поющего свои песни. И вот тут-то накатило. В какой-то момент Серега понял строчку Высоцкого: «Рук не поднять — гитара вяжет руки...» Действительно, Серегиным рукам очень захотелось затанцевать так же, как танцевали руки Вертинского. Но... «Рук не поднять...» Подхваченный внезапным восторгом перевоплощения Серега спел еще и «Шарманщика» и под аплодисменты вышел в коридор.

Спустя какое-то время вышел и Игоряныч, привыкший к совсем иной манере Серегиного пения: «Чего-то ты сегодня — не того...» Ну, в общем-то, друзья на то и друзья, чтобы в глаза говорить то, что думают. Однако Сереге в данный момент было по барабану. В нем еще жило то удивительное чувство... Жило и пело...

Тут из аудитории стали выходить ветераны. Торжественно-концертная часть закончилась. К Сереге подошел высокий пожилой мужчина с орденскими планками на груди.

«Вы знаете, а мне довелось слышать Вертинского вживую...»

«Да вы что...»

«Да. Правда, вот этих песен он тогда не исполнял.»

«Надеюсь я вам не испортил впечатление от настоящего Вертинского?»

«Нет, что вы! Мне очень понравилось! Спасибо вам!»

³ «Ульянка» — корпус первых двух курсов Корабелки, названный так по району расположения. А уж почему район так назывался, отдельная тема.

И ветеран, попрощавшись, отошел к своим коллегам. Серега украдкой показал Игорянычу язык.

Правда, эстетические разногласия не помешали друзьям «добить» початый Серегой «малек». Уже в репетиционной, конечно...

...Шагая через Марсово поле, он вдруг вспомнил, как сидели на этой лавочке... нет, вон на той... с Колянычем, Никой и Анжеликой и отмечали начало очередной сессии «Нахичеванским букетом».

Традиция такая сложилась. Брали в магазине на Миллионной «ноль семьдушку» и праздновали встречу под открытым небом.

...А вот и черная лестница, где на пяточке обычно перекуривали студенты. Когда еще шли вступительные экзамены, Серега с Колянычем начали знакомство с местными достопримечательностями именно с этого пяточка. Докурив сигарету, Коляныч осмотрелся вокруг и, не найдя ни урны, ни традиционной консервной банки, урну заменяющей, горестно швырнул бычок в сугроб собратьев и, затирая тление классическим движением ботинка, изрек: «Институт культуры, бль-ль-лин...»

...Вот и буфет, штурмуемый в двадцатиминутный перекур. Когда ты восторженно занимаешь очередь и считаешь стоящих перед тобой: «Один, два, три... Пять! Ура!»

Ну да. Только через минуту выясняется, что это делегаты от пяти групп, занявшие очередь каждый человек на пятнадцать... Можно, конечно, из принципа не пойти на какую-нибудь пару. Дескать, «я на голодный желудок вас слушать не могу, а на сытый — меня от вас тошнит».

Да, особенно если это лекция по истории театра. Нет, преподавательница — замечательная. Предмет убойный. Что ни страница — то слон, то львица. Что ни судьба театра — то драма, что ни судьба актера — то трагедия. Скорбный путь к славе, блистательная карьера, гениальная игра, болезни, старость, нищета, одиночество, смерть под забором. И так полтора часа. Регулярно. Волей-неволей задумаешься: да на фиг это надо? Особенно если ты, как Серега, находишься в поиске ответов на вечные вопросы, которые возникают у творческих персон особо часто.

А если предстоит лекция Владимира Львовича, то лучше сходить. И дело не в том, что он завкафедрой психологии, дело совсем в другом. Предмет интересный — «Психология творчества». И преподаватель занятный. Он еще со Смоктуновским работал, когда тот Гамлета в козинцевском фильме играл. И что еще немаловажно: похоже, Владимир Львович был тихий диссидент по отношению ко всей «кульковской» системе, и потому его высшее руководство потихонечку гнобило, что само по себе не могло не вызывать сочувствия и дополнительного уважения.

Про каждого преподавателя ходят свои легенды. Особенно — про таких могикан. Про психолога говорили, что если группа не принесет на экзамен банку с яблочным компотом — все. Труба. Никто экзамен не сдаст. Купили перед экзаменом две банки. На всякий случай. Аккуратненько поставили на стол. Стаканчик, ложечку... Все как положено.

За несколько минут до прихода экзаменатора кто-то из старшекурсников, делая страшные глаза, посеял панику и смуту: «Вы что, с ума посходили? Да Львович терпеть не может яблочный компот! Он его ненавидит! Этот прикол с компотом специально придумали!.. Уже поставили!.. Все... Теперь точно пролетите...»

Пришел профессор. Запустил первую пятерку студентов. Раздал билеты. Все замерли...

«Ну что? Что там? А? Пьет? Нет? А? Ну дайте посмотреть, что вам, жалко?.. А? Пьет?»

«Да пьет, пьет...»

Вздых облегчения... Ф-фу... А где этот гад-провокактор? Ищи-свищи, уже слинял...

...Анна ждала Серегу в буфете. Уже откуда-то знала, что он одной ногой на улице. Хотя от нее скрыть что-либо было сложно: она сама была гадалкой экстра-класса. Не фуфлыжницей с вокзала. Она брала за руку, смотрела несколько секунд на ладонь, отводила взгляд и начинала шпарить, словно читала с невидимого листа. Перегадала почти всей группе.

И только однажды произошел странный эпизод. Между сессиями одnogруппник Гусев (тоже Серега) крупно приболел. Еле выкарабкался. И первым делом при первой же встрече подбежал, протягивая ладошку: «Ань, посмотри, а?»

«Сереж, я тебе уже смотрела. Не надо больше...»

«Ну Ань, ну посмотри, ну очень надо...»

Анна взялась за протянутую руку и ошеломленно посмотрела на Гусева: «Вот это да... Как у тебя все изменилось...»

Но не этот случай заставил ее бросить гадание. Телесные болезни иногда помогают поправить душевное здоровье.

Заболела Анна всерьез. Требовалась операция. Шансов на хороший исход врачи давали немного. Анна дала зарок: если все обойдется, то... Обошлось. Так группа лишилась гадалки, но зато не рассталась с одnogруппницей.

...Сели за столик. Еще раз обсудили пьесу. Расставили акценты. Причем не так, как хотел Петрович, а вовсе даже наоборот. Серегин персонаж стал романтическим героем, таким Дон Кихотом, воюющим с ветряными мельницами обывательщины. В общем, из заурядной пьески занудно-дидактического толка получилась крепко сбита трагикомедия.

Кроме репетиций, Серега ни на какие другие занятия не ходил. Зачем? Все равно эта сессия — последняя. Хватит. Побаловались большим и светлым искусством. Прав был Додин... Серега вдруг вспомнил, как поступали к Додину на курс.

В порядке эксперимента. Всем студенческим театром. Было это... Страшно вспомнить! В 1985 году! Перед первым туром — так называемая консультация: начальный уровень отсева. Здесь тоже надо читать прозу-басню-стихи, а если попросят, то и спеть-станцевать. Всех колотил жесткий мандраж. Особенно от предстоящего ответа на вопрос Мастера: «Зачем вы сюда поступаете?» Плюс: говорить, что ты студент какого-либо вуза, — самоубийственно. Сразу же последует реакция: «Ну так идите и учитесь!» Поэтому все резко «превратилось» в золушек: в воспитательниц, в дворников и токарей. Как будто по рукам не видно: какой ты, на фиг, танкист...

«Что же ему сказать?..» — нервно курил Юрик Иванов, человек, в котором безвременно утонул второй Никулин. «А ты скажи, что славы хочешь», — подколот Серега. «Во!..» — просиял Юрик.

И вот началось.

«Что вас, собственно... э... Юрий, сюда привело?»

«Славы хочу».

«Вот как? — такого хамства Додин не видел давно и, поправив очки, продолжил: — Так в чем же дело? Вы у нас кто по профессии? Токарь? Ну и замечательно! Трудитесь, перевыполняйте план, становитесь Героем Соцтруда, вот вам и слава...»

«Гы... — продолжил валять ваньку Юрик. — Это ж сколько вламывать надо... А тут: снялся в кино — и готово! И ты — звезда!»

Додин снова поправил очки. «Ладно... Идите почитайте нам...». Юрик почитал. Делал он это достойно и на первый тур прошел.

Серега тем временем решил изображать восторженного провинциала.

«А вы — что же хотите от Театра?» — продолжил свой допрос Лев Абрамович.

«Я думаю, что Театр — единственное место, где можно работать честно...» — скромно потупив взор, изрек Серега.

Додин вздохнул и посмотрел на абитуриента, как главный врач психбольницы на нового пациента, в котором признал своего незаконнорожденного сына.

«Эх... Если бы это... было так... Идите... Читайте...»

Сергея отчитал свои заготовки и тоже попал на первый тур. Правда, дальше первого тура они с Юриком так и не прошли. Юрик так перепсиховал, что перед экзаменом выпил две таблетки элениума и таблетку димедрола. Поэтому к моменту чтения его эмоциональность была равна эмоциональности двух фонарных столбов в майский день. А Сергей ничего не приготовил дополнительно к тому, что уже читал. Хотя Додин и порекомендовал это сделать...

Да все равно: не прошедшие армию кому были тогда нужны? Надо ж бодаться с военкоматом, выклянчивать для них отсрочки... Это теперь (слава демократии!) студенты уравниваются в правах с наркоманами и педерастами и имеют полное право не ходить в армию. А тогда... Что, кстати, и послужило поводом для Сергея пренебречь редкой в те годы бронью и отправиться служить в ряды...

...Спектакль «Субботник» прошел на ура. В смысле, так его восприняли одногруппники. Петрович был раздражен, что трактовка — не его, поэтому Анна за режиссуру получила не пятерку, а Сергей за актерскую работу — тройку. Но его это уже не волновало.

Вообще, та сессия получилась довольно скандальной. Напряжение выросло до такой степени, что даже на постсессионный банкет педагогов курса не пригласили. Сергей и сам на него не хотел идти: долгие проводы — лишние граммы... Но узнав, что ни Петровича, ни Бадо не будет, пошел.

Быстро догнав сокурсников по уровню праздничного настроения в крови, вчерашний студент уже без горечи и обиды думал о завтрашнем дне...

ЭПИЗОД № 4

Унылая пора! очей очарованье!

Октябрь уж наступил — уж роща отряхнула...

И отряхнула эта роща свое очарованье не куда-нибудь, а в большинстве мест аккуратно на рельсы. Спасибо, родная...

Убирать листву не успевают ни дворники, ни спецтехника, ни радостные школьники мелких классов. И вся эта красота лежит и поджидает удобного случая подгадать зазевавшемуся вагоновожатому. За лето все привыкли рассекать по городу, надеясь на эффективность экстренного торможения. Это когда тормозные колодки по барабанам — хлоп; электромагнитные башмаки на рельсы — плюх; пассажиры, не держащиеся за поручни, на пол — брык, а трамвай юзом катит еще несколько метров, собирая на своем пути все, что не успело спрятаться. Это только с виду трамвай — добродушное домашнее животное, этакое «идет бычок качается, вздыхает на ходу». А по жизни: паровоз — он и в Африке паровоз. Хоть и электрический.

Так вот, осенью экстренное торможение приводит к особо изысканным последствиям. На коньках по льду катались? Ну вот, примерно то же самое. Листья превращаются в смазку, по которой прихваченные тормозами колеса скользят бесшумно и еще быстрее, чем до начала торможения. В кабине остро пахнет горелым листом, звонок дребезжит в надежде хоть кого-нибудь отогнать в сторону, фары мигают, водитель, отчаянно матерясь, пытается замедлить бег взбесившегося вагона, хлопая по рельсам электромагнитными башмаками... Короче, «чудище обло, грозно и лаййй». Лучше уж не тормозить вообще.

Еду по набережной Обводного канала. До перекрестка с проспектом Газа (пardon! он уже — Старо-Петергофский) — прямой участок в несколько сотен метров. Такие участки хороши тем, что можно ехать и побыстрее. Ходу, думушки резвые, ходу! Подгоняю еще. Впереди, справа, параллельно мне идет грузовик. Вдруг он начинает прижиматься к трамвайным путям и сбрасывать скорость.

Псих, что ли?!

Нажимаю на звонок и инстинктивно дергаю ручку контроллера на последнюю тормозную позицию. Звук двигателей пропадает... Бли-и-ин!!! Тут вроде и листьев-то нет, да, видно, раньше налипло чего... Бум-м-м...

Грузовик отлетает в сторону, резко сворачивает направо к тротуару и останавливается. Постепенно останавливаюсь и я. Выхожу из вагона. Да... Правый поворотник — вдребезги, под ним — небольшая вмятина. Ну, около четырех миллиметров бортовое железо — чего ж вы хотите. Водила грузовика осматривает остатки своих стоп-сигналов.

«Ну и?..» — «Дак я ж поворот показал...» — «Какой поворот? Куда? В канал?» — «Дык... Это... Ну, а... Э...»

Морда у водилы сонная. Ясное дело, прикемарил за рулем. Ладно, хрен с тобой... Машу рукой и возвращаюсь в вагон. Не ГАИ же вызывать... Запасная лампочка для поворотника у меня была.

Ночью пришел я в парк, доделал поворотник, закрасил сбитую на вмятине краску. Порядок. Не было никакого ДТП. А то придет утром сменщик, и что?

А утром, между прочим, положено появляться в парке заранее. Эти минуты даже оплачиваются. И за это ты должен осмотреть вагон со всех сторон, если есть свежие царапины, записать сие в вагонную книжку, дабы не было потом к тебе претензий. А то желающие списать своих обезьян на кого-нибудь другого завсегда найдутся без труда и в больших количествах.

Правда, особо пристально рассматривать вагонные борта утром некогда. Нужно успеть проверить состояние контактной вставки пантографа (чтоб была без зазубрин, а то провод порвет), убедиться в наличии фар, стекол в окнах вагона, ломика для перевода стрелок, сцепных приборов для возможной буксировки (не тебя, так тобой), табличек с номером нужного маршрута, а еще запросто может не оказаться кресла в кабине и предохранителей, без которых ты вообще не тронешься с места.

И вот пока ты порхаешь, аки пчелка, собирая по парку (точнее — по вагонам, которые выезжают чуть позже) все эти металлоизделия, время уже поджимает и пора катиться ко всем... Ко всем пассажирам, которые ждут не дождутся высказать тебе свое традиционное «че так долго?». Поэтому обследованием внешнего состояния вагона слишком тщательно заниматься не приходится.

Иногда не приходится вообще. В связи с чем бывают интересные случаи...

...Работал у нас в парке азербайджанец Гоша. Водителем трамвая работал. Что само по себе уже оригинально, ибо жизнь приучила нас относиться к азербайджанцам как к представителям иных профессий. Но это было время Нагорного Карабаха.

«Все соседи на войну ушли, — рассказывал Гоша, — все одноклассники. На меня смотрят: вроде как не мужчина. А если мужчина — иди воевать. А я не понимаю: за что я должен убивать этих армян? А? Они мне что сделали?»

И Гоша приехал сюда, к землякам. Пока то да се, Ельцин разрешил всем торговать всем. Земляки подались в спеку... Тьфу! В бизнес его земляки подались. А он остался на трамвае. И работал честно.

Наверное, поэтому ему было особенно горько, когда он в очередной раз слышал в очереди в универсаме у себя за спиной: «Понаехали тут...» (далее следовал традиционный эпитет). Сколько раз он возвращался из магазина с покупками и со слезами на глазах...

И вот прибежал как-то Гоша на утреннюю смену, пока все подготовил — ехать пора. Выехал. Трудится не спеша. Пассажиров туда-сюда возит. И... Опять — Обводный канал.

Сворачивает Гоша на перекрестке с набережной этого канала. Навстречу, прямо по набережной — колонна грузовиков. Картошку везут на продажу. Торопятся.

Гоша в соответствии с правилами, пользуясь законным преимуществом, поворачивает, не пропуская колонну.

Головной грузовик успевает проскочить перед самым бампером трамвая, зато следующий со всей дури лупит Гошиному вагону в лоб.

«И-и-и-и... Ты че делаешь, э?» — огорченно вопрошает Гоша у высунувшегося из кабины грузовика крестьянина, показывая на дыру между трамвайными фарами.

«А ты че... Пропускать не надо, что ли?» — выдыхает водила, шибая недельным перегаром.

«Э-э-э-э! Ты правила открой, да? Щас ГАИ зовем, да? Пропускать учиться будем!» — не на шутку завелся Гоша.

«Ты че, земляк! Ты че! — всерьез перепугался перевозчик картошки, прекрасно понимая, чем ему грозит встреча с сотрудниками ГАИ. — Слушай, давай договоримся?»

«Че — договоримся, э? Ти смотри, че ти делал, да? Этот дыра кто ремонтировать будет, а?» — от волнения Гоша начал глаголать с могучим акцентом.

«Земляк! Слышь, земляк, возьми картошки, а? Ну, возьми мешок, и разъехались, а?»

Вид у незадачливого экспедитора был такой жалостливо-молящий, что Гоша не выдержал: «Э... Кхрен с тобой, да? Давай грузи...»

Обрадованный водила перетащил пятидесятикилограммовый мешок в кабину трамвая, и участники ДТП разъехались. А надо сказать, что времечко-то было голодное. Для тех, кто не торговал, а покупал. И трудился в бюджетной сфере, а не в бригаде Саши Белого⁴. Зарплата задерживалась с завидной регулярностью. Поговаривали, что какая-то сволочь из управления ежемесячно крутила зарплатные деньжата через банки, «зарабатывая» на нашем пустом кармане свои гешефтуазные проценты...

Короче, приехал Гоша в парк, загнал вагон на заявочную ленту и попросил дежурных слесарей заварить дыру во лбу и закрасить. Во избежание, как говорится... Нет, ну не за просто так, разумеется. Гоша по-честному располовинил мешок: половину — слесарям за работу, половину — себе за пережитый стресс. Очень даже все довольны остались. Долго еще синявинскую картошечку наворачивали за здоровье нетверезого водителя колхозного грузовика...

Да, но самое интересное было на следующее утро. Пришел Гошин сменщик, который работал на этом вагоне постоянно, увидел свежую заплатку, потрогал высохшую за ночь краску и удовлетворенно крикнул: «Не, ну все у нас через glandy, итить е в коромысло. Полгода по-человечески просил: заварите дыру. Хрен. А стоило вчера телегу в управление накатать — готово дело... Че ржете-то?»

Слесари минут двадцать не могли успокоиться. Гоготали до коллик, представляя, как Гоша совершенно искренне разводил шофера-бедолагу на мешок картохи. А Гоша, узнав про то, что дырке между фарами уже несколько месяцев, поскреб затылок, пожал плечами и сделал мудрый вывод: «Э, смотреть вагон надо перед работой...»

Кстати, тот же самый Гоша поразил своим философским взглядом на жизнь меня лично.

Когда я после первой же сессии в «институте памяти культуры» перевелся в стрелочники (потому как совершенно невозможно учиться в «кульке», играть — пусть в самодетельных, но — в спектаклях и одновременно вкалывать на линии с соответствующим безумным графиком), то коллеги по трамвайной судьбе терзали меня вопросом по десятку раз за смену: «Сам? Зачем?!» И только Гоша, узнав, что я перешел

⁴ Ой, да уже не заставляйте меня пересказывать сериал «Бригада»!

на непрестижную и малооплачиваемую должность по своей воле, а не в результате дисциплинарного взыскания, постоял, подумал и изрек потрясающую фразу: «Ну... Значит, так надо...» Гений!

...Вообще, что касается инородцев, то это, как говорится, особь статья. Другая планета.

И неважно: с востока эти инородцы или с запада.

...Поселили в нашу студенческую общагу трех немцев: Хенри, Увэ и Хайко. Приехали они на наши кораблестроительные заводы на трехмесячную преддипломную практику. Понятное дело, что немцы эти были восточные, дружественные, из социалистически ориентированной ГДР. Стена тогда еще делила Берлин на две системы. (А скажите спасибо вашему Марксу, кстати.)

Осваивать Россию они начали, как полагается, с вечера интернациональной дружбы. Интернационалом нас было не напугать, потому что видали мы в нашей общаге и кубашей, и чехов, и вьетнамцев с их жареной селедкой, и индийцев с их индюшками... И это не говоря о пятнадцати республиках СССР.

Вечер шел хорошо. Немцы довольно прилично говорили по-русски, но ближе к трем часам ночи все уже перешло на абсолютно интернациональное наречие в виде фарша из русско-немецко-английских фраз и выражений.

Вдруг один из наших сотоварищей, прилично набравшись интернационализма, зашел: «Дойчн зольдатн унд официрн...»

Кто-то из немцев возразил: «Оу! Ньет, не нада. Это плохая печьня...»

Наш интернационалист не унимался: «Нормальная песня! Мы ее часто поем... „До-о-очн зольдатн унд...“» Наши пинки под столом по его ногам не произвели никакого эффекта. Он только еще больше завелся.

Но немцы тоже были выпимши. Причем не пива «Жигулевского», а в соответствии с политическим моментом — водочки.

«Оу! Ньет-ньет, эт-та очень нехорошь пьецня...»

«Да че ты мне рассказываешь! — вдруг вскипел наш интернационалист. — Да у меня дед под Сталинградом воевал!»

Мы перестали жевать закуску. Что он мелет?!

Один из немцев, тоже достигший необходимого градуса интернационального тепла, мутно посмотрел на нашего кореша и изрек: «Оу... Мой дьед тоже воеваль Сталинградт...»

В воздухе запахло Курской дугой.

Пауза. Осмысление произнесенного. Поиск выхода из назревающего международного скандала.

Немец, осторожно ковыряя вилкой салат: «А... А твой дьед вернулсья?»

Наш, начиная запоздало осознавать некое неудобство ситуации: «Ну... А твой?»

Немец, радостно роняя вилку: «Та! Правда, через пять лиет...»

Наш: «Братан!!!»

Взаимные объятия. И тосты за дружбу и мир во всем мире.

Штук пятнадцать...

...Разницу в российском и германском социализме немцы начали осваивать уже со следующего утра. Отоспавшись после бурной ночи, сели завтракать. Мы по закону гостеприимства метнули на стол все самое лучшее, что у нас было: грузинский чай, батон, сливочное масло (граммов сто пятьдесят) и полпалки вареной колбасы по два двадцать, купленной в складчину на три талона.

Нарубили бутербродов. Сидим, пьем чай. Жизни радуемся.

Общаемся.

Хайко откусил от бутерброда. И на лице его отразилось тяжелое моральное затруднение: проглотить ЭТО ему было страшно, выплюнуть — неудобно. Сидел он так и тер-

зался, пока откушенное не рассосалось во рту. Потом, с облегчением вздохнув, он пил чай с сахаром и оживленно что-то рассказывал, жестикулируя невостребованным бутербродом перед носом моего приятеля. Тот долго хмуро следил за сложной траекторией бутерброда, наконец не выдержал: «Не можешь — не мучайся!» — и шварк! — бутерброд в ведро. Баскетболист. Сабонис, понимаешь...

Второй раз Хайко наступил на грабли через пару дней. Проходя мимо тумбочки с кухонными аксессуарами, остановился, долго смотрел на брусок маргарина (помните еще такие, в пергаментной бумаге, или уже позабыли?!) и спрашивает: «Что это?»

Приятель мельком взглянул в сторону указующего перста и без задней мысли брякнул: «Это? Маргарин».

«А-ха! Знаю, маргарин...» — Хайко отрезает кусок батона, пытается намазать маргарин, конечно, не получается, но он упорно гоняет ножом маргариновую стружку по батону.

«Хайко, — приятель, догадавшись о намерениях наивного немца, пытается предотвратить очередной инцидент, — это так не едят». — «Почему нет? — немец упрямо вдавливая маргарин в батон. — У нас это так...»

Наконец он пробует, что получилось. Grimаса недоумения. Другой сосед (наш, советский) на выходе из комнаты роняет:

«Здесь вам не тут. Это технический маргарин».

«Что есть технически?» — чуть не давится с перепугу бедный Хайко.

«Ну, это, в смысле, пожарить на нем чего-нибудь», — успокаивает другой сосед...

Немец по имени Хенри был долговязым арийцем с абсолютно искренней улыбкой от уха до уха. Не то что резиновая маска среднего американца, просто желающего впарить тебе какой-нибудь секунд-хенд. Хенри любил готовить. И очень часто немцы обедали не в столовой, как все нормальные студенты, а уминали блюда, приготовленные своим земляком.

Мы с корешем только что отстояли три часа за синей птицей. По одной в руки. Как положено. Идем и мечтаем о чем-то светлом: о курином бульоне, например.

Навстречу улыбка Чеширского кота, за ней — Хенри.

«О! Хенри! — говорит мой приятель, желая повеселиться. — Курицу любишь?»

«Курицу? Та!»

«Н-на! Вари!» — шутит приятель, протягивая синюю рябу.

«А-ха!» — соглашается Хенри, берет курицу и идет на кухню.

Мы переглядываемся и пожимаем плечами.

Ну да, мы же не привыкли к их образу мыслей. Хотя все просто: мы купили, он приготовил, вместе стрескали. Все нормально...

...В конце декабря поехали наши немцы к себе на рождественские каникулы. Вернулись с огромными баулами. Насмотрелись на советские магазины-то...

Теперь настал их черед наслаждаться нашими удивленными физиономиями. Мы впервые увидели, что такое, например, салями в вакуумной белой упаковке типа резины...

Приятель мой Игоряныч любил кетчуп. Это теперь его — завались-заешься всякого разного. А тогда, кроме болгарского в стеклянных бутылках, не было никакого.

«Игор! Кьетчуп!» — Хайко, лукаво щурясь, протягивает почти литровую красную пластиковую флягу.

«Класс!» — Игоряныч опрокидывает ее горлышком вниз.

Бульк... На тарелке краснеет порция кетчупа с чайную ложку.

Маловато будет...

Игоряныч трясет фляжку. Безрезультатно. Хлопает по дну. То же самое. Трясет, давит, хлопает. Без толку. Вдоволь навеселившись, Хайко забирает у Игоряныча кетчуп:

«Игор, это не так!» Переворачивает горлышком вверх, затем опрокидывает вниз: бульк. Вверх. Вниз. Бульк. Вверх. Вниз. Бульк. Так мы узнали, что такое дозатор.

«Издеваетесь, да?» — угрюмо буркнул Игоряныч. Но работу с дозатором освоил быстро. Кетчупа-то охота...

Увэ позвал меня в свою комнату. «Зимой у вас холодно. Померяй», — протягивает германский офицерский плащ с подстежкой на искусственном меху. Плащ оказывается впору. Увэ расплывается в довольной улыбке: «Это тьебе...»

Я лихорадочно соображаю, где взять денег на покупку. Вещь хорошая, вещь нужная, но трамвайной зарплаты с большим трудом хватает только на еду.

«А... Сколько стоит?» — как можно спокойней интересуюсь я.

«Это презент... Подарок!» — почти обиженно всплескивает руками Увэ.

Мне почему-то стыдно. «Спасибо...» — бормочу я.

...Зашел как-то Увэ в нашу репетиционную комнату. Увидел пианино: «Оу! Мож-но?» Да на здоровье... Жалко, что ли? Убрали с пианино гору немытой посуды и реквизи-та, смахнули пыль.

Увэ сел, открыл крышку, опустил свои музыкальные пальцы на клавиши...

«Оу... Не работает...» — огорченно протянул немец.

Конечно, «не работает». А как ты хотел? Его настраивали последний раз лет пять назад. И не играли ни разу. Кроме разве что «Чижика-пыжика» или от силы «Собачьего вальса».

Увэ отправился к землякам (диаспора в городе довольно большая), принес инструменты для настройки и дня три пыхтел, подкручивая, пощипывая и напевая что-то под нос. Наконец, довольный, сел и заиграл...

Долго же я себя ругал, что под рукой не было магнитофона. Такой игры мне после слышать не приходилось. Но под запись Увэ играть отказался категорически. И это были не понты звездной болезни, а абсолютно искреннее непонимание: чего тут такого особенного? Многие так умеют...

Ну да, многие умеют, да немногие могут. Жалко, жалко, что не было магнитофона...

Прощальный банкет готовил Хенри. Уж не знаю, где они добыли среди зимы в советском городе арбуз. Земляки, наверное, помогли.

Хенри назвал это крюшоном. Арбузный хвостик отрезается вместе с макушкой арбуза, образуя маленькую крышечку, мякоть из арбуза аккуратно вынимается, выковыриваются все семечки, мякоть нарезается кубиками, водворяется обратно и заливается двумя бутылками великолепного коньяка.

Три дня настаивается в холодильнике. Разливается половником по фужерам.

Употребляется с удовольствием. С большим, надо сказать, удовольствием...

Когда уезжали, Хайко оставил свой магнитофон: «Пусть будет. У меня дома еще есть».

А накануне извиняющимся голосом предложил мне померить зимние саламандровские сапоги: «Я их надевал два-три дня, но они мне великие». Сапоги оказались как раз. Он обрадовался: «Возьми! Зачем я их обратно буду везти?»

Был какой-то у этих ребят комплекс вины, что ли... То ли в связи со Второй мировой (конечно, если с детства по башке бьют: «А-а-а! Верните деньги за моего прадедушку, замученного в гетто! Фашисты!»), то ли в связи с тем, что они сравнили уровень жизни в стране-победительнице с уровнем жизни (также пострадавшей от социализма) Восточной Германии... Не знаю. Но какое-то неудобство они перед нами испытывали — это точно. И, как могли, искренне старались помочь.

Нам еще предстояло дойти до рыночной экономики через «шоковую терапию» пустых прилавков и пустых карманов, напевая на мотив известной песни:

Вирши яростных атак:
 Завтра будет все ништяк!
 И вновь продолжается бой (шуба-дуба-да!),
 И сердцу тревожно в груди (шуба-дуба-ди!),
 И Ельцин такой — никакой,
 И юный дефолт впереди...

Помните (после кончины перестройки и накануне гибели социалистической плановой экономики) талоны на одну пачку чая, на пять пачек сигарет, на полкило вареной колбасы, на кило сахара... И весь этот арсенал на месяц, а не на неделю и не на день... И еще все это надо умудриться выкупить, выстаивая в очередях после работы не один час... А теперь — очередь из пяти человек и: «Ах! Что за безобразии! Сколько можно ждать!!!» Что, зажрались, буржуи?!

А водочку по талонам, литр на месяц, позабыли?

А вот такую зарисовку с натуры уж точно не помните... Без минуты два часа дня. Винно-водочный магазин на Комсомольской площади. Дежурный мент отбрасывает в сторону шеколду и отпрыгивает: жить ему, видите ли, «хоцаца». Толпа страждущих с ревом врывается в магазин. Пауза. Тишина. Шок. Выдох недоумения.

На полках не вожделенные поллитровки, а трехлитровые банки, закатанные жестяными крышками. С криво наклеенными этикетками: «Русская».

То ли в целях остаточной борьбы за трезвость, то ли — наоборот. Чтоб, значит, на троих соображали. В парадной. Из баночки. По литру на рыло.

А ничего картинка: новогодний стол, по краям тарелочки с оливье, заливная рыба, как положено по классике, а в центре торжественно возвышается трехлитровка «Русской».

Поймать бы ту сволочь, которая это придумала, да затолкать в известное место весь литраж «Русской», не вынимая из тары...

Канун Нового года. Универсам «Таллинский». Очередь с полкилометра в несколько рядов. Если бы не милиция, быть беде. Последние дни предпраздничной отоварки талонов на вино и водку.

Стоим больше четырех часов. Перезнакомились. Вокруг врачи, инженеры, художники. Ни одной пропитой морды. Цвет интеллигенции. Всем на столе нужно шампанское, а не тройной одеколон. Все терпеливо притопывают на морозце, вспоминая знаменитое «а у вас — ботиночки на тонкой подошве».

Вот и долгожданные двери винно-водочного отсека... Что-то лица у впередистоящих вдруг погрузнели... Чего-чего?! А... Оказывается, одних талонов для приобретения бутылки с праздничным настроением — мало. И денег — мало. Нужно еще положить тару: в обмен бутылка за бутылку.

Ах, вы не знали? Это ваши трудности, проходите, не задерживайте очередь, не мешайте работать... Гражданин! Не кричите на меня! Товарищ сержант! Товарищ сержант! Тут гражданин возникает...

А сбоку уже пасутся услужливые бабульки с сетками пустых бутылок.

Вам какую? Водочную? Рупь! Шампаньскую? Рупь! А не хошь — не бери. Енто хто гнида? А? Та-а-аварищ сержант!!!

При виде резиновых демократизаторов в руках товарища сержанта со товарищи любой буйан, жаждущий справедливости, кротко платит «рупь» за требуемую тару, отоваривает талон и с благодарностью на лице и матюгом в сердце покидает отдел антигорбачевских товаров.

...Зима! Крестьянин, торжествуя,
Разбил бутылку холостую...

Впрочем, вернемся к нашим трамваям. Приходить утром в промерзлый вагон — удовольствие жижее среднего. Первым делом: поднять пантограф и включить печки... Вот так. Теперь можно и осмотреться. Пока собираешь необходимые в пути причиндалы, печки прогреют кабину.

Может быть.

А может быть и так, что они — еле живые, но этого не выяснишь, пока не сделаешь первый круг. И тут становится понятно, что работать тебе сегодня стуча зубами, потирая ладшки, греясь сигаретным дымом и поминая до тридцать седьмого колена всю родню начальника отдела эксплуатации, главного инженера, директора парка, слесарей, бухгалтерии, парковой дворняги Бобика и лично президента страны.

Особую радость доставляет работа в Новый год. Надо сказать, что скользящий график ломает все привычные представления не только о сне и отдыхе, но и о выходных, праздниках и прочих мелких радостях, позволяющих любому трудовому человеку чувствовать себя не только трудовым, но и человеком.

И вот вместо того, чтобы праздник праздновать и вместе с друзьями-родственниками-близкими праздничный ужин ужинать, ты почти до утра возишь тех, кто уже нанес непоправимый на сегодня праздничный вред своему организму и уверенно едет в Автово, думая, что направляется на Васильевский остров.

Впрочем, почти каждая вечерняя смена заканчивается традиционной депортацией из вагона невесть что празднующих граждан.

«А че, приехали? М-мы и... де?» — «Все, конечная, трамвайный парк». — «Купчино?» — «Пулково. Вылезай давай». — «Ни хрена себе... А обратно?» — «Утречком раненько. Брату крикнуть успел: «Пособи...» — «Ч-чего?..» — «Ничего. Выгружаемся. Пока диспетчер ментов не накликала».

А вы говорите — праздники. Выходной — уже праздник. Правда, многие из сродников по вагонному братству пашут без продыху: выход на линию в свой законный выходной вознаграждается двойным окладом. Вот и колбасят порой по две смены, давно уже став просто трудоголиками, а не ради денег. «Я с этой работой всю пьянку забросил» — традиционное присловье прожженного трамвайщика.

Как-то и мне довелось проработать десять дней без перерыва на пересып. Обычный график: четыре дня в утро, два выходных, четыре дня в вечер. И так — до отпуска. Или до пенсии. Но в месяц ты должен отработать определенное количество часов. Не отработал — иди отдавать супружеский долг родному парку в свой кровный выходной, но с одинарной оплатой. Мне пришлось на это убить два выходных. И вот — одиннадцатый день. Свобода!

Выспался. Встал. Сходил попить кофе на Строителей... Простите, на Маринеско. Вернулся. Полежал. Походил. Посидел. Чтой-то как-то не того... Пришел Игоряныч: «Кофе пить пойдём?» — «Пойдем».

Идем на Маринеско. Пьем кофе. Запиваем соком. Сок во всех кафе города разливают в двухсотграммовые стеклянные майонезные банки, ибо приход демократии ознаменовался повсеместным исчезновением стаканов. От стойкой ассоциации с мочевыми анализами хочется смеяться и плевать одновременно. Сахар в кофе и соль в томатном соке предлагается размешивать чайной ложкой, привязанной к фигурной решетке у окна. Предполагается, что ложку эту никто не облизывает и для дезинфекции вполне достаточно опустить ее в банку с водой, стоящую тут же.

...Позже, кстати, ложки появились в необходимых количествах. Но чтобы их не коснулась преждевременная приватизация, в черпале каждой ложечки была просвер-

лена дрелью довольно крупная «дырочка» (отверстие, если по-научному). На изумленный вопрос очередных иностранных гостей нашей общаги — поляков: «Зачем это?», недолго думая и стыдясь открыть истину, мы ответили: «Это ноу-хау российских корабелов... Ну, чего непонятно-то? Отверстие создает дополнительный турбулентный поток кофе в чашке, за счет этого сахар размешивается в два раза быстрее». — «О-о-о...» — поляки уважительно посмотрели на дырявые ложки, покивали и попихали их по карманам. Вот так и вывозят интеллектуальную собственность за бугор...

Ладно. Попили-запили, пошли обратно в общагу. Посидели-поболтали. Приходит еще один старый приятель — Эдик Миронов, человек большой во всех отношениях. «Мужики, кофе пить идем?» — «Идем...» И так несколько раз, пока кофе не начинает булькать где-то в районе кадыка. Но жизнь все равно кажется пресной, организм тоскует по адреналину, а до работы еще почти тридцать два часа.

Наконец-то в репетиционной собирается народ на разбор очередной пьесы, и можно хоть чем-то заняться...

Понятно, что своим истинным лицом я считаю гордый и независимый лик творческого человека, причастного к богеме. В прямом смысле слова богема. А не просто физиомордию рядового водителя трамвая с табельным номером 3270. Ибо трамвай для меня — способ физического выживания, дающий право на хлеб, на правильный штамп в паспорте, на девять квадратных метров в общежитии трамвайного парка и на слабоплачиваемый труд. А когда этот труд у нас ценили?

Нет, был период. Недолгий. В конце горбачевского социализма, не вынесшего перестройки. Когда платили триста рублей начинающему водителю третьего класса (при цене тринадцать копеек за буханку хлеба, двадцать восемь копеек за маленький двойной кофе и три рубля пятьдесят копеек за виниловый диск Высоцкого). Ошалело глядя на пачку купюр, я имел полное право поразмышлять о путях применения этих сумасшедших денег. Правда, это были самые недолгие терзания: пришел министр финансов Павлов, и проблема лишних средств отпала сама собой. А чубайдаризация всей страны вновь превратила трамвайщиков из пролетарской элиты в голозадное племя, лишь по какому-то недоразумению выходящее на работу. За адреналином, наверное...

Это потом, спустя несколько лет, окончательно разочаровавшись в театральной жизни, перепробовав массу околотворческих профессий, я написал песенку в блюзовой манере:

Для тех, кто молод
И любит квас,
Играет город
Трамвайный джаз.
На клавишах шпал,
На рельсах струн —
Последний трамвай —
Первый скакун.

Белолобая ночь
Утаит фонари.
Их гонит прочь
Провокатор любви.
Печальный лик
Спрячет луна:
До часа пик
Два часа сна...

Зеленый свет
Дорожных глаз
Поможет петь
Трамвайный джаз.
Для тех, кто молод
И любит сейчас,
Играет город
Полночный джаз.

Время, как Микеланджело, отсекает именно ненужные куски прожитой жизни в нашей памяти, и в этом смысле время — не лекарь, в этом смысле время — скульптор.

Как забыть отношение коллег, старых опытных водителей, к молодым да необкатанным?

В первый же день я был удивлен, что водители моего маршрута, попадающиеся навстречу, моргают фарами. Чего хотят-то? У меня все нормально... Стал моргать в ответ. Потом дошло: это приветствие. Этакий диалог: «Здорово! Как дела?» — «Порядок!» На следующем круге: «Привет! Ну, как ты?» — «Да жив пока». На третьем рейсе: «Ну, что? Не спи! Скоро домой!» — «Да я не сплю, так, чего-то...»

Есть в этом какая-то семейная забота и поддержка: «Держись, братан! Отработаем смену!»

В обществе, где друг, товарищ и брат постепенно перестает быть человеком, такое отношение дорогого стоит.

Ночь. Зима. ЦПКиО. Кольцо. Конец смены. Отсюда — в парк. Въезжаю на кольцо, да поспешишь — людей насмешишь. Видимо, поторопился, а может, просто стрелка, забитая утрамбованным снегом, отщелкнулась, но, так или иначе, две тележки вагона прошли нормально, а третья, перепрыгнув стрелку, покатила по другой ветке.

Скрежет, скрип, искры из-под вагона... Змей Горыныч в лице моего трамвая подергался, похрипел и затих. Мертво затих. Проводку порвал, свет и отопление вагона накрылись. Не говоря уж о возможности самостоятельно добраться до парка.

Водитель последнего маршрута, пришедший за мной на кольцо, помог вместе с аварийщиками поставить вагон из положения «упор лежа в шпегате» в более приличную позу. Вызвали буксир из парка.

«Эта стерва тебя погреться не пустит, — говорит коллега про диспетчера на кольце и, хлопая по карману, добавляет: — У тебя курить есть?» — «Есть, — говорю, — пара сигарет осталась». — «Гы... Тебе еще часа полтора тут торчать На, держи, — и протягивает мне полпачки „Космоса“, предварительно заткнув за ухо своей шапки одну сигарету. — Держи-держи... Бывай!» — и поехал домой.

«Стерва» действительно ждать буксир в диспетчерской не разрешила. «Сиди в своем вагоне!» Ну и ладно... А печки-то остывают...

Ох, спасибо, братуха, за «Космос»! Это не реклама курения, неправда. Это благодарность за человеческое отношение к незнакомому водиле из «чужого» парка. А когда чувствуешь, что тебя не кинут под главным лозунгом демократии «Это ваши проблемы», то в силу старой русской традиции можешь закрыть глаза на то, что диспетчер — стерва, трамвай — непонятно по каким законам физики ездящая развалюха, а зарплата — не зарплата, а пайка для выживания рабочей скотинки.

Едешь в непогодь около часа ночи, видишь очередного «чайника», копающегося в движке своего авто, и понимаешь, что ты — король. Тебя, в случае чего, в любое время суток отбуксируют в парк, а там тебе не надо ковыряться на морозе в потрохах «ласкового и нежного зверя». Там тебе просто дадут на замену другой вагон — и впе-

ред, на линию, к родным пассажирам. Так что личный автомобиль мне и даром не нужен. И не предлагайте, не возьму. Да-да, «мерседес» в том числе.

Нет, трамвайчики все-таки — особая каста. Со своим отношением к жизни, со своим куражом, со своими профессиональными болячками и со своей походкой, диктуемой этими болячками, со своей обязательной манерой носить часы на правой руке...

А что делал бы без этих нищих королей город, захлебывающийся от пассажиров, если трамвай здесь — главный извозчик, несмотря на метро, автобусы и троллейбусы? И это — факт...⁵

АНТИЭПИЗОД #4

«Я пришел забрать документы», — Серега с любопытством рассматривал секретаршу декана. Прокуренная представительница богемы с лицом землистого цвета достала папку с Серегиным личным делом. Полистала. Взглянула на оценки вступительных экзаменов. Изумленно посмотрела на Серегу: «Знаешь, ты кто?» Серега пожал плечами. Ему было все равно.

«Жопа ты! — беззвучно прошевелив губами первое слово, изрекла секретарша. — Беги к декану, он еще приказы на отчисление не подписывал! Давай! Успеешь!»

«Ага. Только вы мне аттестат дайте, копию надо снять». Секретарша выдала Сереге аттестат, нисколько не сомневаясь, что минуту назад своим советом спасла еще одного будущего Станиславского.

К декану Серега не пошел.

...Он курил на своем излюбленном пяточке второго этажа. Только что выбросил в помойку труды Рерихов, Клизовского, Блаватской, питерского экстрасенса Мартынова, несколько книг по астрологии и прочую хиромантию.

И почувствовал себя... Как бы это объяснить... Ну, как чувствует себя человек, который месяц ходил в одних и тех же носках, не стирая их и не моя ноги, и вдруг наконец-то добрался до бани, после которой надел свежие носки под сухую обувь. Хорош-ш-шо... Придается вся эта индуистика, как халва с патокой. А хочется картошки с черным хлебом и соленым огурцом.

Хочется творчества, а не пьянки с перспективой групповухи. Хочется жизни, а не бутафорского подобия: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона? — и шепотом, на ухо партнерше: — Ты когда, зараза, тыщу вернешь?»

Да! Искусство — форточка в мир. Когда сидишь в законопаченной, прокуренной комнате, открытая форточка — глоток свежего воздуха. О! Как приятно... Понюхал, подышал и обратно в свою вонючую обыденность... Но кто мешает просто выйти на улицу? И там дышать полной грудью... Не-не-не, мы уж лучше уж так уж, нам уж тут уж привычней... А то еще голова закружится... Ну ее!

Серега пульнул окурок в лестничный пролет и уселся на подоконник между вторым и третьим этажами. Это про него он вместе со своим старым другом Игорем Маврицким — яхтсменом и постоянным зрителем Серегиных спектаклей — написал «Оду любимому подоконнику»:

Подоконник, засиженный мухами,
Вымытый злыми старухами,
Помнит прикосновения
Мыслительной части гениев...

⁵ Времена меняются. Питер, вошедший в 1987 году в Книгу рекордов Гиннеса за протяженность трамвайных путей (600 км), сегодня безнадежно утратил эти позиции и часть городского колорита.

Что же происходит? Почему большое и светлое вдруг стало ничтожным и пугающе мрачным? Когда? Понятно, что любой идеал потому и идеал, что недосыгаем, но как идеал сумел превратиться в свою противоположность? Где и как произошла подмена?

Конечно, театр, как любой вид искусства, хочет или не хочет, но отражает жизнь общества. Какое время — такие и песни? Такие и певцы? Такие и идеалы? И поэтому можно свою распушенность выдавать за норму и впаривать студентам вместо Неба чечевичную похлебку: «Вы все... Все!!! Все — талантливые люди! Вы — художники! А Художник не судим земными мерками... Вам позволено то, что не позволено простым смертным, ибо вы — служители муз! Вы кладете свою жизнь на алтарь святого искусства во имя человечества! Вы — монахи Храма Театра!.. Вы — опричники Мельпомены! Поэтому, крошка, иди сюда, я тебе объясню, какое место мне нужно погладить, чтобы получить на экзамене заслуженную пятерку, а не поганую четверку...»

И сотни студентов и студенток, уверовав в свою святость и исключительность, приходят к защите диплома с мешками под глазами и изрядно измозоленной промежностью. И наиболее удачливые вместе с распределением в театр получают направление к наркологу или венерологу. Иногда и к тому и к другому сразу.

«Т-т... те-атр эт-то оч-чень пэ... просто: н-н-н... аливай и пэ... п-пей!» — говаривал ныне покойный режиссер студенческого театра «Аск» Володя Бакланов, талантливейший, надо сказать, человек... Жена долго за него боролась. Это благодаря ей режиссер выглядел достойно даже после многодневных запоев: в отутуженном костюме и гладко выбрит. Благодаря ей он в считанные минуты преобразался из бомжа-алкоголика во вполне уважаемого джентльмена и отправлялся на прием к Собчаку. Денег просить на театр.

Ездил даже в московскую штаб-квартиру сайентологов, с которыми то ли от горя, то ли от безысходности связалась его жена. Сайентологи провели тестирование Володи на IQ. И выпучили глаза. Они-то, видно, рассчитывали на интеллект, близкий к нулю, а тут... А дальше — классический диалог на тему «моя твоя не понимай».

«Скажите, у вас действительно есть проблем с алкоголь?» — «Ч-чего? Н-ну, д-дэ... допустим». — «А-ха! И она вам мьешает?» — «Н-ну... к-как сказ-зять...» — «Она вам мьешает в вашем э-э... работе?» — «А... Дык эт-то... Йес-сли нед-делю г-гудишь, кэ... конечно, мешает». — «А-ха! Она вам мьешает в вашем семейном жизнь?» — «А то...» — «Что?» — «М-меш-шает». — «А-ха! Ви хотел бы бросить пить?» — «Ты ч-че, охэ... хренел?» — «Не поньял...»

И так полчаса с разными вариациями. Так и не просекли американские гости простую логику мятежной души русского режиссера...

...Половина третьего ночи. Серега возвращается с работы. Проходит мимо дверей репетиционной комнаты театра «Аск». Высовывается лохматая голова Бакланова: «Зд-дорово! У... у тебя ст-т... акан й-есть?» Вот уж чего у Сереги, как грязи, так это стаканов. Друзья частенько приходят в его комнату, взяв в буфете стакан кофию. Кофий выпивают под сигарету и неспешный разговор, уходят, а стакан оставляют. За полгода арсенал скапливается богатый. Потом работники общажной столовой совершают опустошительную облаву и с крепкими словами уносят пару ведер стаканов на место их приписки. Через месяц в Серегиной комнате снова оседает стаканов двадцать.

«Не счесть, — говорит Серега, — стаканов в каменной пещере».

«Т... тащи!» — командует Володя.

«З-з... аходи! С-садись». — «Стаканы кому?» — «Т-ты... тебе!»

Оп-паньки... Ну, ладно, завтра — выходной, почему бы и нет?

В комнате, кроме Бакланова, еще трое. Двое сидят, но с трудом, третий (маньяк-яхтсмен Валера по кличке Слепой, ставший студентом и поселившийся в этом общежитии лет десять назад) лежит у стенки. Перехватив Серегин взгляд, Бакланов

комментирует: «О... он пришел сэ... сюда н-на пэ-прошлой н-неделе. Зэ... знаешь, чем ку... купил меня эт-тот че... человек? А... дной фразой: „У м-меня, — гов-ворит, — вс-ся ж-жопа в ш-шрамах от-тэ... от суицида!“ Л-ладно, садись! Я сэ... спонсирую!»

Бакланов поворачивается к своим актерам-собутыльникам: «Вэ... Василий! Дай денег!»

...А жена его вскоре, устав бороться и крепко подсев на сайентологические бредни, подписала контракт на миллиард лет и уехала вместе с малолетней дочкой в Лос-Анджелес в «головную» организацию наркомана и параноика Хаббарда...

Хотя ничего нового в нравах ныне существующего театрального мира нет. Обо всем этом говорили и Салтыков-Щедрин в «Господах Головлевых», и Горький в «На дне», и Чехов в «Чайке»...

Тотальный дефицит любви в обществе? Может быть...

«И по причине беззакония во многих охладает любовь...» Да-да! Пожалуй... И отсюда — попытка заменить духовность душевностью, душевность — физиологией, а отсутствующую любовь — любым суррогатом. Мечется человек, хватается Жизнь обеими руками, тащит в постель, в кабак, разочарованно сплевывает по утрам, и снова — на охоту, и снова вопль разодранной души:

«И ни церковь, ни кабак — ничего не свято! Нет, ребята, все не так, все не так, ребята... Эх, раз, еще раз, еще много-много раз...» И снова головой — в стену...

Да, до эпохи исторического материализма человека от распада удерживала Церковь, постоянно напоминая об обязанности каждого довершить начатое Богом созидание человека — дораста от образа Божия, данного по рождению, до подобия Божия, добываемого всю жизнь; о необходимости не ползти — а ходить, не ходить — а летать... А это раздражает, потому что лежать — легче. Приятнее и доступнее получать земное удовольствие здесь и сейчас, чем искать Землю Обетованную в Небесном Иерусалиме...

Ну да... Поэтому и храмы сносили — они даже без крестов и куполов, самими стенами своими задавали извечный вопрос: «...порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?»

Первой взбунтовалась «образованщина». Все эти Радищевы и иже с ними. Пошло-поехало. Весь девятнадцатый век разъедала Империю моральная ржа, подыскивая оправдание своей ублюдочности. Потом Церковь отменили и долго ели друг друга, пока не поняли, что надо сделать передышку.

Создали «Моральный кодекс строителя коммунизма», почти дословно слизав его с Библии.

Для рядовых лохов.

А потом придуриаться надоело. «Берите каждый, сколько сможет унести»: суверенитета, власти, государственных ресурсов... Хапай! Пахан разрешил... И, кстати, это многих устроило: если соседу можно, почему мне — нельзя?! И отмазка хорошая: «Мне семью кормить надо, поэтому я...» — взяточник, душегуб, бл... Ой, простите! Надо же толерантней: коррупционер, киллер, путана (нужное подчеркнуть).

Всенародная приватизация права на исключительность.

«Тварь я дрожащая или право имею...» А ответить себе: «Да, я — тварь» — не хочется никому. Хотя, по большому счету, права-то этого (топором по черепу, якобы во имя счастья миллионов, а на самом деле для самоутверждения) как раз никто и не имеет. Ибо право на вседозволенность, на снятие рамок, ограничений и запретов превращает человека в животное, будь ты хоть буддист, хоть дарвинист — исход один: марш на пальму, тварь!

Во как...

Чего? Закурить? А... Да, вот бери... Серега протянул незнакомой студентке пачку «Беломора». Барышня удивленно поморщилась: «Нет, спасибо...»

Как-с? Ну нет так нет. Курить она, видите ли, хочет... Если курить хочет, то и «Беломор» пойдет. А если нет — значит, выпендривается. А выпендриваться — это вон к первокурсникам. Им это еще интересно...

Да, так что там? Ах, да...

Получается, что именно осознание себя тварью, признание своей слабости и согласие жить по тем незыблемым законам, установленным от века, удивительным образом превращает человека из твари в Человека. И наоборот: борьба за права человека (в первую очередь — за право человека быть полным экскрементом эпохи) лишает его истинно человеческой сущности...

«О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещения дух...»
И сколько судеб многотрудных
Споткнулось об открытье с двух...

А не испить ли нам кофейку? Да пожалуй, что испить.

Сергея направился додумывать свои мысли в любимое кафе на улице Маринеско.

Его «осанне» еще только предстояло «пройти через горнило сомнений».

Не сразу он поймет истинность слов кумира юности — Высоцкого — о том, что творчество возможно в любой профессии, если ты в ней — профессионал.

Не сразу поймет, что творчество — это конструктивное нарушение законов ремесла. Нарушение, но не разрушение. Ремесла, а не нахватанных на халяву по верхушкам навыков самодеятельности. Вы пойдете на операцию к самодеятельному хирургу-самоучке? То-то...

И уже освоив престижную, истинно творческую профессию, Серега еще не раз вспомнит, как водил трамвай маршрута номер один, и подумает, что, как ни странно, пожалуй, именно там он более всего чувствовал свою нужность: когда продрогшие горожане, поругиваясь («Нет, ну сорок минут ждем! Что за издевательство!»), превращались в пассажиров...

Но это все будет потом.

А пока Серега в очередной раз шелкает зажигалкой и в очередной раз думает, что надо бы бросить курить.

Дышать уже нечем...